



ИСААК БАБЕЛЬ • ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



ИСААК БАБЕЛЬ
ДЕТСТВО
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Исаак Бабель
ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

הוצא לאור בהשתתפותה ובאדיבותה של חברת "דלק"



*И.Э. Бабель. (Зима 1930—1931.)
Фото Т. Тэсс.*

Исаак Бабель

**ДЕТСТВО
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1979

Printed in Israel

יצחק בבל
ילדות וספורים נבחרים

Isaac Babel עיריית חיפה
CHILDHOOD AND OTHER STORIES
מרכז תרבות לעולים
בית ארדטסיין - ספריה
מס. מלאי.....
800

Подготовка текста, комментарии и библиография
Э. Зихера (Оксфорд)

Редактор В. Левин (Иерусалим)

Послесловие С. Маркиш (Женева)

(c)

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספריית עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

בסיוע האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן-זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

נדפס בדפוס "סתיו", ירושלים

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1941?) — крупнейший представитель русско-еврейской литературы советского периода, мастер русской прозы, сохранившей прочные связи с еврейским культурным наследием и глубоко проникнутый еврейским самосознанием. Родился в Одессе, получил домашнее еврейское образование, окончил Одесское коммерческое училище и продолжал образование в Киевском институте финансов.

В 1913 г. опубликовал свой первый рассказ. Основное место в творчестве Бабеля занимают короткие рассказы, большинство которых объединено в циклы «Конармия», «Одесские рассказы» и цикл автобиографических рассказов. Бабель писал также пьесы, киносценарии, очерки. Его произведения переведены на многие языки, анализу его творчества посвящена обширная научно-критическая литература.

Бабель был арестован весной 1939 г. и, по-видимому, расстрелян в тюрьме. Официальная дата его кончины, 17 марта 1941 г., по имеющимся сведениям, недостоверна.

Большинство представленных в этой книге произведений И. Бабеля печатается по текстам ранних публикаций, нередко появлявшихся в малодоступных журналах и газетах 20-х годов. Этим данный сборник отличается от предшествующих сборников избранных сочинений писателя (в частности, «Расска-

зы», 1936; «Избранное», М., 1957, перепечатано в Англии в 1965 и 1975—1977 гг.; «Избранное», М., 1966; «Избранное», Кемерово, 1966), которые воспроизводят тексты Бабеля либо с более поздней авторской правкой, либо с цензурными искажениями и купюрами.

Некоторые из представленных в этом сборнике рассказов известны только по журнальным публикациям. Отдельные материалы (например, новый текст «Автобиографии», отрывки из дневника и проч.) публикуются по автографам, с которыми составитель познакомился в советских архивах.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в Одессе, на Молдаванке¹, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, библию, талмуд². Дома с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Это было веселое, распущенное, шумливое, разноязычное училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и много великовозрастных биллиардистов. На переменах мы уходили в порт, на эстакаду или в греческие кофейни играть на биллиарде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино.

Лучше других предметов преподавался французский язык. Учитель был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Я затвердил с ним классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке³.

После окончания училища меня отправили в Киев: в 1915 году я очутился в Петербурге. В Петербурге пришлось худо, не было «правожителства», я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у растерзанного пьяного официанта⁴. В 1916 году я начал разносить по редакциям мои сочинения, меня отовсюду гнали, редакторы (покойный Измайлов, Поссе⁵ и др.) все убеждали поступить в лавку приказчиком, я не послушался и в конце 1916 года попал к Горькому. Этой встрече я обязан всем. Горький напечатал первые мои рассказы в ноябрьской

книжке «Летописи» за 1916 год (меня привлекали за эти рассказы к ответственности по 1001 ст.)⁶, он научил меня важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит и что пишу я удивительно плохо — Алексей Максимович отправил меня в люди⁷. За семь лет — с 1917 по 1924 — много пришлось узнать. Я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 г., в северной армии против Юденича, в I-й Конной армии, в Одесском Губкоме, был репортером в Петербурге и в Тифлисе, был выпускающим в 7 советской типографии в Одессе и проч.⁸ И только в 1923 г. я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Начало литературной работы отношу, поэтому, к 1924 г., когда в журнале «Лэф»⁹ появились рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др. За два года были написаны «Конармия» и «Одесские рассказы». Потом снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы¹⁰.

РАННИЕ РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ ШЛОЙМЕ

Хотя наш городок и не велик, хотя все жители в нем наперечет, хотя Шлойме прожил в городке 60 лет безвыездно, но все таки не каждый бы вам сказал, кто такой Шлойме и что он из себя представляет. Это потому, что его просто забыли, как забывают ненужную, непопадающуюся на глаза вещь. Такой вещью и был старый Шлойме.—Ему было 86 лет. Глаза его слезились; лицо, маленькое, грязное, морщинистое лицо, обросло желтоватой, никогда не расчесываемой бородой и космами густых, спутанных волос на голове. Шлойме почти никогда не умывался, редко менял платье, и от него дурно пахло: сын и невестка, у которых он жил, махнули на него рукой, запрятали в теплый угол и забыли о нем. Теплый угол и еда — вот что осталось у Шлойме, и, казалось, ему было этого довольно. Погреть свои старые, изломанные кости, скушать хороший кусок жирного, сочного мяса — было для него высшим наслаждением. К столу он приходил первый, жадно следил немигающими глазами за каждым куском, длинными костлявыми пальцами судорожно запихивал пищу в рот и ел, ел, ел до тех пор, пока ему отказывали дать еще, еще хоть один маленький кусочек. На Шлойме было противно смотреть в то время, когда он ел: вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлойме: за столом она как будто случайно обходила его: старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным беззубым

ртом; он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется, но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба, эта с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались и старый Шлойме получал свою порцию.

Так и жил он в своем углу — ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее, и только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил с Шлойме, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойме был очень доволен, когда, однажды, после ужина, сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда, слышите, выселяют, гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойме медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать.

С этого дня Шлойме стал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала, горько, с надрывом плакала.

У Шлойме нашлось теперь занятие — он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. «Их гонят отсюда!» Шлойме знал, за что их гонят. «Но ведь он не может уехать! Ему 86 лет, он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро... Нет, Шлойме никуда не уйдет. Ему никуда идти, совсем никуда». Шлойме забился в свой угол и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. «Он вырос здесь,

прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище». В минуты таких дум Шлойме неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но... он так давно ни с кем не говорил, никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рте, поднятая рука бессильно опускалась. Шлойме, весь съезжившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорят сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика и пара маленьких глаз, с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко: невестка забыла, что Шлойме еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойме. Колеблющимися шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора, несколько раз покачал головой и впервые за много-много лет слеза выкатилась из его глаз. Больше он ничего не сказал. С трудом поднялся с колен, костлявой рукой вытер слезы, для чего-то стряхнул пыль с сюртука и побрел обратно к себе, туда, где в углу стояла теплая печка... Шлойме хотел обогреться. Ему сделалось холодно.

С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому Богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа, — этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно сто-

яли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дадут съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что же? Шлойме расскажет Богу, как его обидели. Бог ведь есть, Бог примет его.» В этом Шлойме был уверен.

Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по стариковски, охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно... Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил шестьдесят лет безвыездно, и повис...

Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную, отцовскую Тору.

ИЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял брови, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша.....

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко!, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

.....
— Э, — снова поморщился Гершкович. — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку, — сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне, — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. — Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля... — неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла.

.....
— Нивроко, — сказал Гершкович. — Откормилась.

Скоро они заснули.

—————

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле. — сказал он. — Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы, — ответил Гершкович. — первый город, хороший город, — и он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо. — сказала Маргарита.

— И правда, — ответил Гершкович. — Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак, — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — Люди злые.

— Нет, — сказал Гершкович, — люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный, — медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверите, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жила ты, жила. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься, — говорила Маргарита. — Занятия такая, что дешевкой оденешься — шей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе, — подумавши ответил Гершкович, с напряжением разрезая селедку на равные части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности. — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пана.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда, Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу, — сказала она, — привет...

— Спасибо, — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

ШАБОС-НАХАМУ¹

Рассказ из цикла «Гершеле»

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой². В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолвившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки — ни Бог, ни талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску³.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера он с семьей сидел во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он.

— И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай Бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь, — ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечки тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко! Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл?⁴ — спросил он себя.

(Все известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией, и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

— Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза. — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни.

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опу-

стил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил:

— Я пойду пешком к рабби Борухл.

Когда Гершеле отправился в путь, солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листья склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шопоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижные фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роже-ница перед родами. В одну минуту в его голове ро-ждалось больше планов, чем у царя Соломона насчи-тывалось жен⁵.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и ду-маю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не учи-лась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне: когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю и парик новый, и к рабби Моталэ мы поедем просить, чтобы у нас ро-дился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам Бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хо-зяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, по-тому что Зельда была высока и жирна, красна и мо-лода. Высокая грудь ее походила на два тугих ме-шочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскры-лись, как у ребенка.

— Это я и есть — шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на зе-млю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи, — закричала хозяйка, — и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершелю. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершелю. — Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там, — продолжал Гершелю, — холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша... — прошептала пораженная хозяйка.

— На Пасху он возьмет себе одну латку⁶. Блина ему хватает на сутки.

— Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершелю, и слеза покатила по его носу и пропала в бороде. — мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершелю не закончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно неслась к нему — тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершелю начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершелю съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлеб горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, — что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес⁷, бутылку вишневой настойки, банку малинового варенья и кiset табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые носки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме того, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. — Или погодите немного, скоро муж придет.

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листья. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на свете живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил. — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать — какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновение. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле не долго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Тут Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря понуро повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

ИСТОРИЯ МОЕЙ
ГОЛУБЯТНИ



И. Э. Бабель с сестрой и бабушкой (1912).

ДЕТСТВО. У БАБУШКИ

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царяпину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш — я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочиты-

вал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» — Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, — это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были. —

я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое, — я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], м. Рес-
ysson, учитель французского языка, и уроки приходилось готовить. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы — какая тоска! Сначала я принялся за уроки. Разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, Боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я

должен был бросить чтение, пройти по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист — только теперь я понимаю, как это было странно. как много означало для меня. Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным окном он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец, он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час — урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор — глубокую клетку — ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошла по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждают комиссар до смерти. Просите за меня Бога». «Иди с миром. — сказал ему цадик. — Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она была голодна.

— В старину люди верили, — промолвила бабушка. — Было проще жить на свете. Когда я была девушкой — взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старик хотел завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал: «нали».

Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахара.

— Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом. И бабушка рассказывает мне о моем деле, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет. — Учись. — вдруг говорит она с силой, — учись, ты добьешься всего — богатства и славы. Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжело — навеки — ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнушую [голову?].

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. — «Пошла вон, наймишка, — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. — Я здесь хозяйка. Ты до-

бро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. — «Уйди», — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны и куда они смотрят — я не знаю. После ужина она [...].

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М.Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзамену в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району. Мне было девять лет всего, и я боялся экзаменов. Теперь, после двух десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся*. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро: никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и тогда по закону приняли маленького Эфрусси. Отец мой очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом

привел его к отчаянию*. Он хотел побить Эфрусси или подослать двух человек с рынка*, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваяева недостижимые пять с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче, и отец был так жалко гордею, что мне непереносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бесильно всем переменам и только радуется на них или слабеет.

Учитель Караваяев был по мне лучше отца*. Караваяев был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, не противная бородавка сидела* у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваяева, на экзамене присутствовал помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня на экзамене о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихи Пушкина. Я навзрыл сказал эти стихи, цветистые человечьи лица* покатались вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти

мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего визга, захлебывания*, бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мной, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, ликовавшему за меня и за Пушкина:

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит...

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, в коридоре, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов*. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы, маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, и сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он тогда гимназистикам*, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, и большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал подмастерью закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Белая мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что обо всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что Бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом, очень скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе¹, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос², бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после его смерти наследство из Лос Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряжи женских волос, дедовский талес³, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкапулках, отделанных дешевыми жемчугами. Из всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был невыразимо доверчив к людям, он обижал их восторгами своей первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет

злбная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела Рахиль, моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что древняя наша семья станет когда-нибудь сильнее и величественнее других людей на земле*. Она не ждала для нас удачи, она не хотела новой форменной блузы и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. И все же нам пришлось купить шапку с гербом.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были всегда влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался этим от обыкновенных людей и еще лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года⁴. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были очень хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером, не боясь никого, не боясь того, что никто в свете его не любит*, плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и поме-

щики боялись их, от них нельзя было отделаться. не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни⁵, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Трогательную прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман⁶, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо. шелковые традиционные шнурки⁷ вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь Иудейский⁸, победил Голиафа, и подобно тому, как я восторжествовал над Голиафом, так несгибаемый наш народ* силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, и плача, выпил еще вина и закричал: «Vivàt!». Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать напилась пьяна*, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее, — всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда она стала привыкать к счастью делания для меня бутербродов до ухода в гимназию и когда она ходила* по лавкам и покупала елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в бумажных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрога-

ются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственности над вещами, пахнувшими нежной сыростью и прохладой новых вещей*, передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему незабываемому сумраку*, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец, мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика ледом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, резные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двенадцатого октября я собрался на охотничью, но внезапные беды преградили мне путь*.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на охотничью. С утра в день двенадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и воловоз наш, забросивший все дела, ходил по Рыбной улице напояженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городской Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в этот день так блестяще, как никогда не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всех ис-

пугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотничьей, которая помещалась далеко за вокзалом.

На охотничьей, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распутив сияющий хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной прелестной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожил и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупателей, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, все вышло худо. В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили...

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотничьей. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем не-

бе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. Я смотрел вслед старику, его сапожному стулу и милым клеткам, завернутым в цветное тряпье*. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся*, и влетел в пустынный переулок, утоптаный желтой землей. В конце переулочка, на креслице с колесиками, сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчишки с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, и я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ли ты деда моего Шойла?

Но калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в ужасном волнении ерзал на креслице, и жена его Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает, — видно меня, Катерина, Бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди плотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И, в самом деле, по переулочку пробежала женщина с распалившимся прекрасным* лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не

поспевал за ней, колеса его гревели, он вертел рычажки и все не поспевал.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он. — ради Бога, мадамочка, где брали сарпинку?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю...

Но парень, услышав про Соборную, не стал мешкать*. Он изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулочек снова остался желт и пустынен, тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня што ль Бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам што ль сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную апоплексической проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревавший мое сердце.

Толстой рукой разворошил калека турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, — голуби, — повторил он, как неотвратимое эхо*, и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь, сжатой ладонью, голубка треснула на моем виске*, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не

слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед моим глазом, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездил беда на хромой и бодрой* лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между трепещущим моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля моя пахла сырыми недрами, могилой и цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, я шел в убранстве из окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, светлая дворняжка бежала впереди и в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного

царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, и воспламененные старухи летели вперед неудержимо. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конца процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст, наш дом. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае на трупе Шойла и убирал мертвеца*.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнули*...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в доме была обновка, и поостыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче. — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Девяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собою много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в Инженерном управлении манчжурской армии. Кроме Кузьмы другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляду, отворачивался и трепетал. В ликующих ее глазах я видел* удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей все мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнатам с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых вздутых отдавленных книзу грудей, а на халате ее розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с бессмысленной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чекчиры¹, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страданья. Необузданные вымыслы терзали меня, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожа на любовь и ревность взрослых мужчин, только у детей эти чувства таинственнее, возвышенней, горячей*. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпы наемных убийц разграбили лавку отца и убили деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то печальное утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Руб-

цова поставила меня под кран. Высокий гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшего к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький. — сказала она, поцеловала меня в губы запухшим ртом и оглянулась.

— Маленький раввин, — прошептала она вдруг, — ты видишь, у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Бабель*, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жилам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труда за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь. — бормотал он и пошатывался на полворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без Бога без этого сталоверского. от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с диким отчаянием закричал о сталоверском Боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего Бога. но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе.

ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущельи, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу, — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машины и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что...

— Слушаю-с, — пробормотал офицер, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам и к толстой, терпеливой, волосатой морде*.

— Слушаю-с, — повторил капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки. Они бесстрастно сидели в высоких седлах, они ехали в воображаемом своем ущельи и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

— Папа, — сказал я.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью и задрожал от любви ко мне*.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навст-

речу, — человеческую жизнь и детей и несчастное наше счастье — ты все им отдал... Паршивые копейки, — закричала она басистым, хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнушимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре и я смотрел на нее с восторгом.

Ученый нервический мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими сафитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого досчатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, негодное ружье стреляет дурно, убийцы в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина, разрумяненная зимним безжалостным весельем, как богатая девушка на катке*. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуолетый офицер, стоит за ее спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячее, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби не-

велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, мигающая лампа, судорожный спутник несчастий.

— Я леда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь очень красивые лежат, — вот и службу привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на скучающего шамеса² Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — службе кишку напихать, служба цельную ночь Богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика:

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерь бордатовое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России, — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас Христовым Воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских сло-

вах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?..

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов, и продолжал читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, — ой, Шойл, дорогой человек...

Лицо отца, завернувшееся в судорогу, разодралось с торжеством, и он приготовился кричать, как кричат еврейские вдовы на похоронах или старухи в Марокко, старухи, попавшие в беду*. Мы увидели, что он будет кричать ужасно, и мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

И отец умолк. Околевающие его глаза окружились слезами*.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, Рахиль, как я жалею Шойла..

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадилу...

И, правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вы-

валивалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, перекатывавшимся в зеленой моей блевотине*, — тогда мать, закутавшаяся в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим сильным голосом, — как мы беспокоим вас и милую Надежду Ивановну, и всех ваших... как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала она, — потерпи, мой бедный Бабель*, потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что я не испытывал больше стыда. Я метался на постели и, падая на пол, не сводил глаз с Галины. Испуг расшатывал женщину и корчил, я рычал ей в лицо, чтобы продлить власть над ней, и, рыдая, торжествуя, изнемогая, с последними усилиями любви, я рыгал возле нее зеленой водой, шедшей из сердца*.

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. На утро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

— Болезнь эта, — сказал он, — случается у одних евреев и среди евреев она бывает только у женщин.

Поэтому доктор удивился, найдя у меня странную такую болезнь*. Он велел поскорей ехать в Одессу к профессорам и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Леви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полудню бурые воды Буга сменились тяжелой зеленой

волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Леви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства. И теперь, вспоминая печальные эти годы, я нахожу в них начало недугов, терзающих меня, и причины раннего, ужасного моего увядания*.

В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое было всегда воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего. — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плавание на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому было охота волиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика Марка Боргмана я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса¹. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца .

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял

меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности переворачивать все вещи в мире, такие вещи, прозе которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я был так странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель² или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негодья. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом, обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приезжала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негодья — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и кольцо, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. Он был очень умен. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка, по имени Бобка, разгласила об этом по всему двору. Она придела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого Фонтана³. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был

разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня восхищением. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester Guardian»⁴. Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками, они хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в их бриллианты, бриллианты, навешенные всюду, — в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что его отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, в доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали

тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинации, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после моего визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Бранницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек, сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолил его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями барышниками пить чай в трактире «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе

с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не доведши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о добrote и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тисненными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-гашоно⁵. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбтому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви Ицхока, он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви Ицхока за семьдесят лет его жизни: сначала в Сквире и Белой

Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах⁶ и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло отлично, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим — грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда⁷. Марка ослепили бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чая со штруделем, Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу⁸:

О римляне, сограждане, друзья,
 Меня своим вниманием удостойте.
 Не восхвалять я Цезаря пришел,
 Но лишь последний долг отдать...

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был и верным другом,
 Но Брут его зовет властолюбивым,
 А Брут достопочтенный человек...
 Он пленных приводил толпами в Рим,
 Их выкупом казну обогащая.
 Не это ли считать за властолюбие?..

При виде нищеты он слезы лил, —
 Так мягко властолюбье не бывает,
 Но Брут зовет его властолюбивым,
 А Брут — достопочтенный человек.
 Вы видели во время Луперкалий
 Я трижды подносил ему венец.
 И трижды от него он отказался.
 Ужель и это властолюбье?..
 Но Брут его зовет властолюбивым,
 А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окно дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель!..

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздавался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога...

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение,

чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
 Могучий Цезарь; он теперь во прахе.
 И всякий нищий им пренебрегает.
 Когда б хотел я возбудить к восстанию,
 К отмщению сердца и души ваши,
 Я повредил бы Кассию и Бруту,
 Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она верно сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной. Он кричал то же, что и всегда*:

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом жаловался мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты. Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее*...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем успевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу...

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матершиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоялся у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и совершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
 Они теперь из ваших глаз польются.

Всем этот плащ знаком. Я помню даже
 Где в первый раз его накинуд Цезарь:
 То было летним вечером, в палатке,
 Где находился он, разбив неврийцев.
 Сюда проник нож Кассия; вот рана
 Завистливого Каски; здесь в него
 Вонзил кинжал его любимец Брут,
 Как хлынула потоком алым кровью,
 Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужас подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная восточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела ключьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнул его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

Вместе с его уходом улеглось мое волнение. Мною овладели решимость и спокойствие*. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками свой квадратный лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок острями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустил в нее. Вода разрешила меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху,

с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон винтом уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и маленькие ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова нехватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принести на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука леда. Тогда впервые за этот день я заплакал, и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди. Я отдавал ей их*.

— Как он дрожит, наш дурачок, наше дитя, — сказала Бобка, — где оно находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

ПРОБУЖДЕНИЕ

В все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. В течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец¹.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет, мать вела крохотное и хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург².

В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая сила гармонии. Они становились прославленными виртуозами. И вот отец мой решил угнаться за Хейфецом и Мишей Эльманом. Хотя я и вышел из возраста вундеркиндов—мне шел четырнадцатый год, — но по росту и хилости меня можно было сбить за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви Ицхок был посмешищем города и укорашением его. Он расхаживал по улицам в цилиндре, в опорках и разрешал сомнения в самых темных де-

лах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мной, боясь деда, потому что возиться было не с кем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговоров о Мише Эльмане, освобожденном самим царем от военной службы; Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — поджигали люди, обедавшие за наш счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитр книги Тургенева или Дюма и, пиликая невесть что, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственным занятием в нашем роду. Лейви Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, три раза в неделю я тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и при-

падочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной надрывался, пел, дирижировал учитель с бантом в рыжих кудрях и с жидкими ногами. Управитель чудовишной лотереи, он испытывал вдохновение, населяя Молдаванку и черные тупики Старого базара призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр...

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дома, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице. Мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне часы пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к одному старому матросу, по имени мистер Троттибэрн³. Неманов был на год моложе меня, но он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Co⁴, компании, столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир. Знаете ли вы, кто такой был Бенвенуто Челлини?..⁵ Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он

только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банков, иностранным консулам, богатым грекам. Наживал он сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была вложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там, на клочке песчаной отмели, обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось плаванье. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре⁶, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех

мест, корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбах и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились к нему, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало, не тревожилось. С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми кривыми ногами — он лежал среди нас за волнорезом, среди последних выжимок племени, не умеющего умереть*, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался обслуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит?.. С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему трагедию моего сочинения*.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал

Никитич, — у тебя взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провёл рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он вразтяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе нехватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Какое это дерево?

Я не знал.

— Что растёт на этом кусте?

И этого я не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поёт?

Я не мог ответить. Название деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, о чем думали четырнадцать лет твои родители?

«О чем они думали? О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана». Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома за обедом я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я, — Бог мой, почему это раньше не пришло мне в голову? Где взять чело-

века, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев? Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет, сирень и акацию. Дерibasовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю об Яше Хейфеце. Возле Робина он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал, получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза.

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Спасения не было*. Я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась семья. Женщины плакали. Бобка, моя тетка, терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус⁷. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал на нее с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины, визжа, катались по полу, они хватали отца за ноги, обезу-

мев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал шаркающие, удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный цвет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия. Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула. Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импрессарио не написал на гастрольи Ансельми и Титто-Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это: он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо¹ с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижи-

мался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы латушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеяна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нишей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновенья, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных, подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену город-

ского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес,—грозно, бесшумно сдвигаясь,—скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутылки вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои

деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent», но перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородастые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукий Уточкин². И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босьяк, — выходя из театра, сказала она Коле. — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька — называют эти мужья своих жен — золотко, деточка...

Присмиривший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке, я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босьяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыв рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, —

сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие в высь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле — затихшим и невыразимо прекрасным.

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев¹.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес².

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушил его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои речи, Казанцев ерошил желтый ко-

роткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства Альциона, задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастьях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древне-славянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха³ — доисторические камни и чудища. По углам — на поставках — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в

Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана — свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно, — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева—среди спящих— всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва осязатимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреться. Повернуть его надо один раз, а не два.

На утро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки: атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашенные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, смерти, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше, — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей Бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распутившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-

под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о близости его к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский, с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик, — и она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов. Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, брэнчала перстнями и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудренной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груды их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные

носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным⁴.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат 83 года, муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?..

— Сегодня у нас "L'aveu"...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, *le soleil de France*⁵... Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полит. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справлялся у рыжей Селесты, — Когда же мы позабудемся, *ma belle*?⁶

— Что это значит, мсье Полит?

Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил — Позабавиться это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...

— Я не люблю таких шуток, мсье Полит, — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабудемся, *ma belle*, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

*Ce diable de Polyte*⁷... За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: — А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста? — она ответила, потупив глаза: — Я к вашим услугам, мсье Полит...

Раиса с хохотом упала на стол. *Ce diable de Polyte*...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девочкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— *Mon vieux*⁸, за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, *ma belle*... Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась. Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плече у нее зажглись пятна. Изю всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, стра-

ницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де-Мопассана»⁹.

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры ле Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. В начале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку, — и писал непрерывно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках и поедал свои испражнения*. Последняя надпись в его

скорбном листе гласит: “Monsieur de Maupassant va s’animaliser” («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев¹ начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи-галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячеей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя,

учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским², вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. За спиной телеграфиста сутулый, большой мужик в развязавшемся треухе. Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, расстегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать их в рот его жене.

— Брезговала трэфным³, — сказал телеграфист, — кушай кошерное*.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженных пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик. — хучь в рабины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо. — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф, Хаим...⁴

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она ку-

рилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной. Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрал до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы наоборот говорим, — нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге, — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задраным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы прибли-

жались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека⁵. Два пулемета, две железных собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант. — он там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви⁶.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле, дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово... Тебя здесь надо...

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разло-

жена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витога, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я от-давливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять...⁷

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыровой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «*A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies*⁸, — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны... Мне лакеи рассказывали, — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампан-

ское... А на столе у него, погляди, пяточковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подружки и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенных гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю⁹...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким¹⁰. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессоницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

КОНАРМИЯ

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волыньск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы* и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, и штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями: третий спит уже, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, челове-

ческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху.

— Уберите, — говорю я женщине, — как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу. Они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут мне распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается тотчас над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив своими руками свою круглую, блестящую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают на-земь.

— Зачем ты поворотил бригаду? — кричит раненому Савицкий начдив шесть. — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу

— Пана, — говорит она мне, — вы кричите со сна, и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу.

Она поднимает с полу хулые ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его рывана, лицо разрублено пополам, синяя кровь пестит в его бороде, как кусок свинца.

— Пана, — говорит еврейка и встряхивает перину, — пояски резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было удобнее. — он кончался в этой комнате и думал обо мне. И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной си-

лой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

Новоград-Волыньск, июль 1920.



КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военному, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, трясая внимательными сединами, подсыпала мне печенья, и я наслаждался пищей иезуитов.

Старая полька называла меня паном, у порога стояли на-вытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас товарищами. Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвенье поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно.

Он стал бы епископом — пан Ромуальд — если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятия, крохотные, как талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего Бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждающие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства Иозефу Пильсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о, Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..¹

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, и мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоту у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзы-

ваются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепя, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того как в квартире ксендза были найдены груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шнорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, униженные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винченца, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином².

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья и зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глянцевиных стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О, глупый ксендз, развесивший на гвоздях Спасителя лифчики своих прихожанок! За царскими воротами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

«Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами»...



ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря Господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слышать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от бела лица до сырой земли... (следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу).

Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам писать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буленого, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия Цик, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный Кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать и опосля этого он с геройским духом рубает полдюю шляхту и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Прошу вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буленого, получить Василию Курдюкову. Кажные сутки я ложуся отдыхать не евши и безо всякой одежи, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, прошу вас досматривайте до него и напишите

мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Прошу вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспрерывно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре и Бог вас не оставит. Могу вам писать также, что здесь страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы видать мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты¹. Которые люди их видали, — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы материны дети, вы ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папашы убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание итти в город Воронеж пополняться и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, ноганы и все что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень ве-

ликотепный, будет поболее Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденого вышло такое приказание и он получил двух коней, справную одежду, телегу для баракла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что делал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе в вольной одежде, так что никто из жителей не знал, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себя окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семен Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жилами здорово спорился, которые не выпускали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ товарища Троцкого² не рубать пленных, мы сами его будем судить, не сердчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, то он есть командир полка и имеет от

товарища Буденого все ордена Красного Знамени и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее и также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду и с бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказали папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказали папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька повернулся к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почему зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки и Бог вас не оставит»...

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не изме-

ненное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижимый, скуластый, с сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице мерцала крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученьи, два брата Курдюковых — Федор и Семен.



НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеба и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащут на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики — чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная,

что храбрости ненадолго хватит — спешат, безо всякой надежды, надерзнуть начальству, Богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как и всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты коровьего блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебора, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном своем англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье, — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновение к нему под стремя полвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасае пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасае двадцать тысяч рублей. Но,

однако, что конь упал — это не хвакт. Ежели конь упал и поднимется, то это — конь, ежели он, обратно сказать, не подыметя, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подыметя...

— О, господи, мамуня же ты моя всемилостивая. — взмахнул руками мужик, — где ей сироте, полняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — а ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

Белев, июль 1920 г.



ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пану Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

*

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохот-

ное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет с пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холонской Польши с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда с слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких бацимаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водою свое розовое узкое хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску благовонной зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонику на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песең огласили прокопченные стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжающим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю ор-

ган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщевые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещеного христианским именем Аполинаррия, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если Бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом, красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы из священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисного дерева. Патер увидал на своем столе горячий пурпур мангий, блеск смараговых полей и цветистые покрывала, накиннутые на равнины Палестины.

Сытые жена Аполека, весь этот набор выкукующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых — был втиснут в потоки шелка и могучих вчершеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику:

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон бляения стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысынами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII¹ и сам новгородский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый паптер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы². В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей³. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она дли-

лась три десятилетия — война безжалостная, как страсть иезуита*. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви. Боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать золотых за богоматерь, двадцать пять золотых за святое семейство и пятьдесят золотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять золотых⁴, — так объявил Аполек окрестным крестьянам после того как его выгнали из строящегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные, как цветение тропического сада*. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой⁵, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые, — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека, — он окружил вас неизреченными принадлежностями святости, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей.

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И

не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева...

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, — боязливого хромца с черной клочковатой бородой деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о, превратности судьбы — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель-Роббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю... — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

-- Имею сказать пану, -- шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен чловек, — кричит в отчаянии пан Робацкий, — тен чловек не умрет на своей постели... Тего чловека забияют людовс...⁷

-- После ужина, — упавшим голосом шепчет Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой

истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блестящим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла.

Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк, и евангелист Матфей, — то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Невыносимая икотка раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать ее и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя необык-

новенное томление женщины, жаждавшей мужа и бо-
 явшейся его, возложил на себя одежду новобрачного
 и, полный сострадания, соединился с Деборой, ле-
 жавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям,
 шумно торжествуя и лукаво отводя взоры*, как жен-
 щина, которая гордится своим падением. И только
 Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина
 выступила на его теле, и пчела скорби укусила его в
 сердце. Никем не замеченный, он вышел из пирше-
 ственного зала и удалился в пустынную страну, на
 восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у
 Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я, смеясь и ужасаясь.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важ-
 ностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему
 носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий,
 поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались.
 — цо вы мувите?⁸ То же есть невысказано...

— Так, так, — съезжился Аполек и схватил Гот-
 фрида, — так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помед-
 лил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая
 глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или ще-
 глом, как пану писарю будет угодно...⁹

И он исчез с слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво, — произнес тогда Робацкий, ко-
 стельный служка, — тен чловек не умрет на своей
 постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как
 кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой,
 к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с
 нею вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и
 нестройные песни.



СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой живой ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну¹. Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, слепая счастливая баба, клубилось впереди июльским туманом*.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил орли-нарц, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал его книги. Это был самоучитель

итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестиками и точками. Неясный хмель спал с меня*. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...Пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака с этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

«Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма². Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки*. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного Цека made in Харьков, в самодельной столице³. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над нами с высоты государственной мудрости, — чорт с ними...

«А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве, я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую

Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнувшая сырой кровью и человеческим прахом.

«Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не можете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подход столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сантиментальность, ну ее к распрозтакой матери...

«Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю, и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

«В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстрелах, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «романтик». Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

«...Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой, Виктория...

«Италия, она вошла в сердце, как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория»...

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном, нечистом ложе, но сон не шел. За сте-

ной искренно плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотанье долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. пышная книга с золотым обреза стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевиными листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и с целым выводком принцесс.

И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, повисшая над желтым пламенем свечи.



ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра.¹ Старуха

моя в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как корабль на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!*

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, с страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот передо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот день твоя ласковая тень?² Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой 1810 и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он шиплет сивую бородавку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшие к нему.

Эта лавка, как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка, и маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и слышит пыль с умерших цветов.

И вот мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его ци-

линдр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей да, но разве субботе мы скажем нет? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — Да, кричу я революции, да, кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед одну только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце. — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза. — шепчет старик чуть слышно, — поляк, злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это — революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне: отдай на учет твой граммофон, Гедали... Я люблю музыку, пани. — отвечаю я революции. — Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...

— Она не может не стрелять, Гедали. — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контр-революция; вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контр-революция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида³. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на-голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль млечного пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, евреям надо в синагогу... Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, — привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе не достача, ай, не достача! Привезите добрых людей, и мы отладим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал — мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы. Юная суббота⁴.

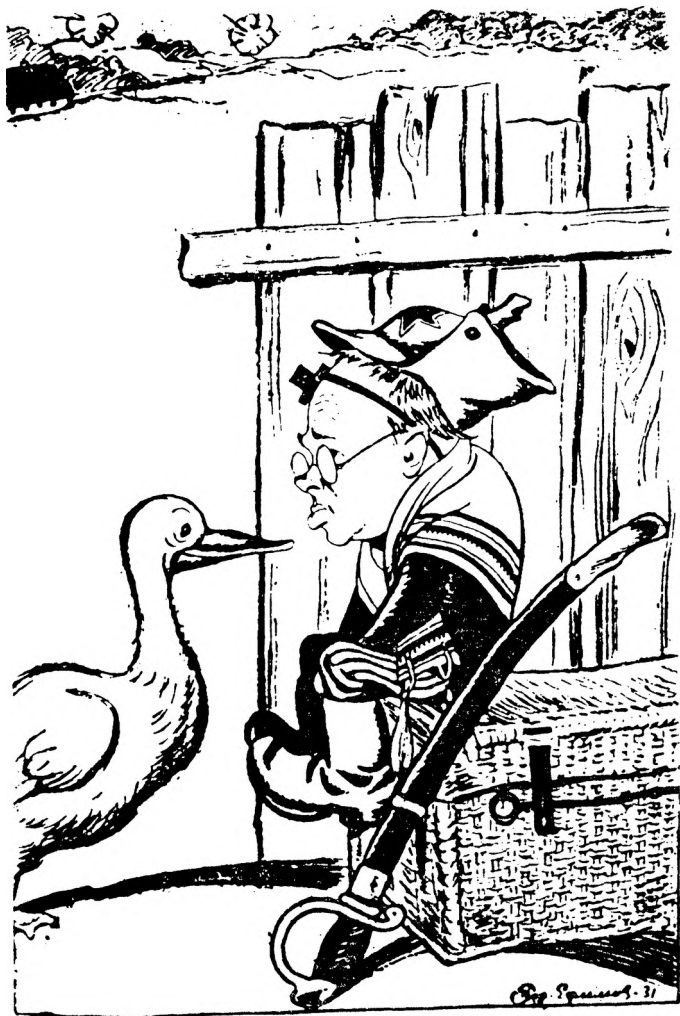
— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного Бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони, и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре, и с большим молитвенником подмышкой.

Заходит суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.





Шарж на сюжет рассказа «Мой первый гусь».
Рис. Б. Ефимова (1931).

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

С авицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапчонкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло недосыгаемыми духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...Каковое уничтожение, — стал писать начдив и измазал весь лист, — возлагаю на ответственность того же Чеснокова, вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронтах не первый месяц, не можете сомневаться»...

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза. В которых танцовало веселье.

— Сказывай! — крикнул он и рассек воздух хлыстом. Потом он прочитал бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии*.

— Провести приказом, — сказал начдив, — провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов¹, — закричал он, смеясь, — и очки на носу, какой паршивенькой... Шлют вас не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой сундучок*, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тута у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испортъ вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил, полный отчаяния, и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок, — согласно приказания товарища Савицкого, обвязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льяным висячим волосом и с прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел, в нем варилась свинина, она

дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна². Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали, и излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо.

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа Бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь. — толковать тут мне с вами...

И отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусятинная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в возе, и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа Бога душу мать, — сказал я, копаясь в гусе саблей, — изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собою дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать с сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь.

Луна висела уже над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снестать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льяным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас нехватка...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу. Я читал и ликовал и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну...

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропуская звезду. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогрелое убийством, скрипело и текло.



РАББИ*

— ...**В** все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, пересекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружил его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке яростных ветров истории*.

Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдаль, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременных хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой¹. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей?² — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город³, — сказал вдруг рабби с необыкновенной силой, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя⁴.

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки, — шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздрает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал падик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек, — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне, — ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе. Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы⁵, с могущественным лбом

Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне⁶.

— Это — сын рабби Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен Господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, и я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде 1-й Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радио-станции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный Кавалерист»⁷.



ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили неопикуемые ульи*. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчелы. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей. Поэтому я заставил непоколебимые уста Афоньки наклониться к моим печалям*.

— ...За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — ответил взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по прошествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранировать. И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела.

— «...Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!...»

«...Не умею,— говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу...»¹

— Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее, небось, ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать*.

Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подьесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. Джигит был верный конь, а подьесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подьесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подьесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подьесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу героическому закату*.

Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О, Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреборимым ядом. Я ощущал

уже смертельный холод глазниц, налитых стынущей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

Броды, август 1920 г.



УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Гришук¹. Ему тридцать девять лет. История его ужасна*.

Пять лет пробыл Гришук в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Гришук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера к ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — конь...*

Поповская, заседательская, ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков залушенный нами Махно*, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии. Таков Махно, упразднивший пехоту,

артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевой порядок, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, без потери времени открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно². Рубить эту армию трудно, выловить — невысказано. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колониетскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся куча людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колониетские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колониетской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие

днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казачью упряжь — запутанную, ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядом и сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы³ с обнаженными круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери»...

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещей павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, jovиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино⁴. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волинского еврея несдержаны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой ок-

раины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщицеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.



СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши порваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону.

Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточки, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про III Интернационал.

— Там видать булет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал лико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось, не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий и бабий голос Афоньки Билы, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать; как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в несказанном изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шалку, захрипел, гикнул и умчался.

Грицук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огненных стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Поляки вошли в Броды и были выбиты контр-атакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грицук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грицук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем! — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудятся, — ответил он еще печальнее, — зачем сватанья, венчанья, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами.

— Смехá мне, — сказал Грицук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. — смехá мне, зачем бабы трудятся...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — я кончусь... Понятно?

— Понятно, — ответил Грицук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов строго.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я глухо и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.

— Бежишь, — пробормотал он сползая, — беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отступивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он бледнея, — убью. Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Гришук, — не дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь, — крикнул Афонька, — он от моей руки не уйдет...

Гришук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Гришук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Гришук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста.

И я принял милостыню от Гришука и съел его яблоко с грустью и благоговением*.

Броды, август 1920 г.



КОМБРИГ 2

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева¹. Только что убили комбрига 2. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделию тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю. — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо, — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади жлали его в ста сажнях. Он шел опустив голову и с томительной медленностью перебирал кривыми и длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг — на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидели ее одну —

узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее ура, разорванное ветром, донеслось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах голубой пыли*.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами, на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза*.

Ура смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады — один — на буланом жеребце невиданной красоты и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

Броды, август 1920 г.



САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка поработал при отчине неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч, — заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в ключьях и в пыли.

— Фу, ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой...

— Пожалуйста, не побрезгайте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку. Тараканыч лег с ней и набаловался сколько

мог*. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам...

И сказавши это, она увидала Сашу, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пяточок, очень блестящий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его Господу Богу, пяточок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради Бога, Тараканыч, — повто-

рил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил...

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу и потом выгон и увидели крест на станичной церкви. Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Таракановой избы было с полверсты ходу.

— Давай Бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики полкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей...

— Ушли дети со двора, — сказала баба вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку Бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были рас-

крыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материнной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученых в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух громкий, как музыка, идет с полей, и радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материнной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч, — спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнувшей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченный.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченные.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи.

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч...

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель Сашка, — сказал он шопотом, — вот и вся недолга, я порубаю тебя, святитель...

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоче, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в 1-й Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединялся с десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Дону¹. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что он был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы сали-

лись по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в законченном котелке или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного ко-
ня.



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья. он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской, раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно; нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтоб душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навывлет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля вокруг меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мною разворачива-

ются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покада один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем, — говорю, — или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот являюсь.

— Настя, — говорю и всей моей кровью чернею.

— Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?..

Но она не дает мне себя слышать, а пускается от меня бегом и бежит из последних сил, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет, отвечайте мне...

И я отвечаю ей:

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно, небось, молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходитя от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходитя она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю стену, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И поговоривши короткое время глуности, мы с ней в скорости женились. И стали мы жить с Настей как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо

жили, как черти, и все до той поры, пока не заявится ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте...

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино, у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его дверей, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю чистосердечно...

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновой царских флагов были, потнички его, встал над ними, старикашка, и залетушился.

— Вольному воля, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, но только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какойнибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в самделе, убей меня Бог, вот затейники, мне, небось, с вас зажитое следует...

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин и кидает меня на колюшки и сучит ногами и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину

и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, рódные мои братья, вель барин пять годов на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, любя ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок? Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, любя моя! Не писаря летали в те дни по Кубани и выпускали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвей Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда, один, без отряда, и взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там в горнице. Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел с своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимаете, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ, мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холнокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, в походе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Ни-

китинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее видеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, — и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился, судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души.

— Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенке, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрения... Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: Нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чортову сторону схилилась и кровь в Российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается, — ты ее все равно доставь и мои смертные взоры все равно забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу одну покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет...

И опять мы с ним по комнатам пошли, в винный

погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в Прикумское твоё логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то, что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?..

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырваться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — я с тобой, как с Российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали, стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я топтал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно, стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...



КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах¹. И под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, разможенным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого². Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище волоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали поют о них витиеватой молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анании, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О, смерть, о, корыстолюбец, о, жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?»

ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой попрежнему Прищеп^а — молодой кубанец, неустойчивый хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе. Мне не забыть его рассказа.

Год тому назад Прищеп^а бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контр-разведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищеп^а вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищеп^а подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке с кривым кинжалом за поясом, телега плелась сзади. Прищеп^а ходил от одного сосела к другому, и кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодецем, и иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищеп^а вернулся в опустошенный отчий дом. Отбитую мебель он расставил в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы. На тре-

тью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепка отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле и жаждал мести и ждал своего часу, и он дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, и лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, хлопоствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы все считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках, и только Хлебников, израненный истиной и ведомый мезью, шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя, как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава те господи, чешемся, направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебрала их за спину.

— Цельный день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Цельный день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдававшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходят, еще кони мои

скачут, еще руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решеное, — сказал начальник штаба, — жеребец тебе мною возвращен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше десяти и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумагу и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона, — чего ты пишешь, хрен с тобой?..

— Описываю разные мысли, согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военному заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у невероятных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выхолил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до белых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистской и гражданской

войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь»...

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова, потому что он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико и влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю. — бей враз!

Тогда мы потащили его в палатку, и казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован, как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я ужасно был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эска-

дроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. И он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что* нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Раздивиллов, июль 1920 г.



КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, уже к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом вобнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова...

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну, не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору — вель это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я

им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов¹. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ногу дырку.

«Ладно. — думаю, — будешь моя, раскинешь ноги».

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал, живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею, я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком»...

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени, — кричу, — сдавайся, ясновельможный, покуда я жив...

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за ради Бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я и плачу и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дел. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздуху и понес по-старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовешание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание, скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плоски в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку, — прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар Н..ской кавбригады и трехкратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним... Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посеючас подо мной. А потом вижу — каплет из меня все сильнее, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех...



БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховой башлык его был перекинут через бурку, и кривая сабля лежала сбоку, как приклеенная*.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого¹. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел нам про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попала у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели уже объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о втором конгрессе Коминтерна². Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя подмышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился*.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру³, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии⁴.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазан-

ных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется всегда сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сарай эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и в конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей шибет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владельцев Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она глумилась над сыном за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики божились мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и нежный звон его шпор. Он говорил о втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано: «Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est

mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont e'te' faciles, notre petit he'ros ache've sept semaines»...¹⁾

А внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мешан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...



СОЛЬ

Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за незнательных женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридцать земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве. я там, конечно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак

¹⁾ Берестечко. 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполнилось уже семь недель... [Перевод автора].

не отваливает, Гаврилка наш не крутит, и бойцы стали сомневаться, переговариваясь между собой — в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешечники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железных крышах, коловоротили, мутили, и в каждой руке фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешечников. Инициатива бойцов, повывлазивших из вагона, дала возможность поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Также и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалах с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говоря я ей, — какое будет согласие взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосля нас она и мужа не захочет...

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину, вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детьми при ваших

матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дитя, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспомнили кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят...

По прошествии времен, когда ночь сменилась с своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только разрешите мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее и беру у ней с рук дите и рву с него пеленки и тряпье и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в Республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие от нас этой ночью*. Оборотись на женщин наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебе, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни*, а вы, гнусная гражданка, есть более контр-революционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозит нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до-ветра не бегают, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я, действительно, признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину и

несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и Республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые ташут нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвою травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции.



ВЕЧЕР

О, устав РКП!¹ Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца с страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников газеты «Красный Кавалерист», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычов с объединенными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра третьего задушил Орлов, любовник его жены, Павла растерзали придворные и собственный сын, Николай Палкин отравился, его сын пал 1-го марта, его внук умер от пьянства...² Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожения, Галин неумоимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, вверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза. Так смотрит на профессора, преданного науке, девушка, жаждущая неудобств зачатия*.

И рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий, мордатый победитель*. Подтягивая штаны к сокам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царских дочерей и потом говорит, зевая:

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... А против луны на откосе, у заснувшего пруда сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел. Галин, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи, — вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Вся партия ходит в передниках, измазанных кровью и калом,* мы чистим для вас ядро от скорлупы; пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, вы выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку...

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, закрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с толстыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба русским тесным замирающим голосом*, — уйдитя с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый

ряд казачью вольницу, пропитанную многими пред-
рассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их желез-
ную щеткою...

И Галин заговорил о политическом воспитании
Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной
ясностью. Веко его билось над бельмом, и кровь те-
кла из разодранных лалоней.

Ковель, 1920.

АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювым. Стена
неприятельской кавалерии появлялась всюду.
Пружина окрепшей польской стратегии вытягива-
лась с зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за
всю кампанию мы испытали на своей спине дья-
вольскую остроту прорывов тыла и фланговых уда-
ров — безжалостные укусы того самого оружия, ко-
торое так долго и счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювым держала пехота. Вдоль
криво накопанных ямок слонялось белесое босое во-
лынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи
для того, чтобы образовать при Конармии пехотный
резерв. Крестьяне пошли с охотой. Они дрались с ве-
личайшей старательностью. Их сопящая мужицкая
свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их
к польскому помещику была построена из невидного,
но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало
действовать на воображение неприятеля и конные
атаки на окопавшегося противника сделались невоз-
можными, — эта самодельная пехота принесла бы
Конармии величайшую пользу. Но нищета наша пре-
возмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих
и патроны, которые не подходили к винтовкам. За-

тею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чухлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоска мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и, разинув рты, следила упругое изящество этого небыстрого потока.

Впереди полка на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак¹⁾, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, он весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с прославленным батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!». Казаки

¹⁾ Маслак — командир 1-й бригады 4-й дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти [Примечание автора].

повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети проошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

— Для смеху, — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай, — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело, — пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал их по обе стороны шоссе. Над Лешнювым встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, эта неповторимая, высеченная пешка возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви сует-

ливо кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива, они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший Афонька догнал свой взвод.

Он ехал на самой обочине дороги, оглядываясь и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновенье ослабела. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах конь кротко согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступил от издыхающего животного и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу? Куда полеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан,—повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха пойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипенье. Он в нежном забытии поводит по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вста-

вил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое, ужасное лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же на Афонькином возу и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня, где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизнь спасает. Пропасть Биле без коня...

А на утро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начлива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревьях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я не-

мало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До восхищенного нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски отчаянного и воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя*. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удалестве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парал с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный халуй, вел за начдивом заводную кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин, пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временем, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мешанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом сером жеребце выехал Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка закусил ее.

Казачи подъезжали к нему один за другим и зло рожались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно сияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поперек вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казачи полукругом стояли вокруг него. Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Бищенко.



У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с Богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят—его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелко-

вых рясах служили перед костелом молебн. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорствующие реки. Мужичье преклоняло колена, целовало руки, и на небесах в тот день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, *pater Beresteckae*.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, и храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след их звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как

декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка*. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руки и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее* и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел*.

Он был полон света, этот костел, он был полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов, и черные во-

лосы палачей лоснились, как борода Олоферна¹. Тут же над царскими воротами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащее еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной и недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Сведенный с ума воспоминанием о мечте моей, об Аполеке*, я не заметил следов разрушения в храме или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы². Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал, и их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, и следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом, с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, избороденного тучами, бежала бородастая фигурка в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда

наш слух. Мы недоверчиво отступали перед лицом ужаса, ужас наступал нас и щупал мертвыми пальцами наши сердца*. Я видел: человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и наступала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, и из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение Бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый жиденок* с клочковатой бородкой и низким сморщенным лбом. Впалые щеки его были покрашены кармином, и над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, покрашенные, босые, изрезанные серебряными гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги Спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

Берестечко, август 1920 г.



ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское селю у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте, в общественном саду, посреди города, у самого собора. Тула явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа по соборным часам дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученьи.

— Бойцы, — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края ямы, — бойцы, — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам, — хороним Папу Трунова, всемирного героя, отдаем Папе последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, об гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской пашки и рыл землю ободранными ногами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи

сыграл Интернационал, и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прощамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я стоял в задних рядах, я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный селюком, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и непобедимом галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и в непонятном ослеплении таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы, перевозносили учение Аласии, раввина из Белза, за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гусятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Илии, виленского гаона, гонителя хасидов...¹

— Илия! — кричали они, извиваясь, и разсвали заросшие рты*.

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Илии, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщевую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная крохотная, пробритая головка змеи, она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и ви-

селищей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулочек, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негрятенок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулочка у фронтона разбитого здания. Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивал жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, потому что мне не понять было, какой он человек и какова жизнь его здесь, в Сокале*, но тут меня остановил казак, державший наготове некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно² когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе чорт сидит, Лютов, зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?..

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне такую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер. Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора:

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Завады. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того,

чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи, — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся, — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству...³

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришепетывая, — впору, — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, и из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка растегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебрал их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окру-

жило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее кучьего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колена, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю.
— Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей...

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казачьей удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена, — пробормотал тогда Трунов и удивился, — измена, — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно, и эта суета его была мне в тягость. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал их в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущуюся к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей,

род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с гордой немецкой грудью* и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти. — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого для того, чтобы отвести его к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезавшего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать. — ответил я, солrogаясь.

— Троицкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел...*

— Вымарай одного, — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать, — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом

остановился. поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди. — сказал он, — звон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины⁴.

— По коням, — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадром. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винта, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачу от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдеранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному»...

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользуйся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользуйся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята, — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет, — ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюш-

ка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господи Иисуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэропланы второй пулемет.

А аэропланы залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на желтый блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда, они улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупам. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте, в общественном саду, в цветнике, посредине города.



ИВАНЫ

Дьякон Агеев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменный полк. Главком Каменев, Сергей Сергеич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции¹.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кой-как сбили из клейменных маршевую

роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, подивился упорству дьякона.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожой дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Агеев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь, — закричал он Акинфиеву, — пересадить надо дьякона.

— Куды его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись, — Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий. — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами. — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно нам или не подходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит...

— Чего там стоит, — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с Богом, — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобней, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобней сидай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим. Он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, они ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блу-

ждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотинном. В бою под Хотинном убили моего коня, Лаврика, утешение мое на земле*. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползали из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Она выливалась у него изо рта, брызгала между зубов и стояла в пустых глазницах*. Записная книжка и обрывки воззваний Пильсудского² валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пильсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жилкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой, — закричал я, цепенея, — кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я необыкновенно громко, — Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, пол-

ложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа.

Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, Богу слава, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед нами и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня, — сказал он дьякону, кряхтя и обуываясь, — снелать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, опоминаясь, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мною третьи сутки...

И тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, и рассказал всю историю дьякона с начала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядом и обвалялась в соломе. Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и роздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Агееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского³ и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков...

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцование. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел ее на свет.

Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя каждый каждого судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше, — произнес Агеев и выпрямился, — убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам, — ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришел бы тебя, как утку, и не крикнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе вырешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя, — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо, — эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая и четвертая. Евреи в жилетках с поднятыми плечами стояли у своих порогов, как ободренные

птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, ходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее.

— Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух, — прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пушай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Агеев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И упав на колени, дьякон пополз между телегами головою вперед, весь опутанный поповским, всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между возами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табак, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место. Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и роздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и уходя слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам, надругаюсь...



ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому:

«... И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, тру-

дящая масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении»...

Савицкий — Хлебникову:

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал до меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурачности, когда ты застелил глаза собственной шкурою и выступал из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отлающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищи, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаяю, увидеть расцвет, так как бои тяжелые, и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухмаников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидаяю увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

Галиция, сентябрь 1920.



ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размещивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Темрюке, в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой.

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — говорю, — не знаю вашего имени-отчества, такое недоразумение вызываете, что здесь

обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь, — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом.

Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливаются звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую — все ей. Жили, как умели, вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме — кланялся командир, и не плачь. Хата тебе, старуха, живи. Кто тронет, скажи к Буденному: я — Шевелева матка. Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня, — бормочет Левка и взмахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слышала, чего говорит?.. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори...

— Отдам. Пусти.

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское знатье*, — ответил Шевелев, — пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо,

хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед Богом, все одно в грехах, как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у Бога не ubyло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место*. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтраму уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтраму уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка, обеспамятевший холуй, полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заста-

вленному телегами. Тела санитаров торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрочки их заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик,—сказала она,—Иисус Христос мой, — и легла на мертвеца боком и прикрыла его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадром хлопотать. Не сладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб 6-й кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой эсаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отда-

вавший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники... — донес к нам ветер обрывки слов, — ...мать на Тереке... — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Он скоро вернулся к нам, Левка, холуй начдива*, и закричал, блеся глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — мы второй раз напомним...

Галиция, август 1920.



ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостьи, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Все звезды были задушены* раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и

переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопцы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, и чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота*, закипели между нашими сосками.

— Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под меляками, я не смог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По моему лицу, разорванному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение сто-на. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я, — кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десять миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на-вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и де-

ревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирмейстером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кроватью телку.

— Ниц нема¹, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомяну, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай², — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она

едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось на нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Вы женаты, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

Сокаль, сентябрь 1920.



ИЗМЕНА

Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видали, как бы дать подмогу урожденной моей ста-

нице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее¹. С того времени, я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слышать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N... ский госпиталь. На госпиталь этот я положил с походом, а не чуть ли* стрелял и напал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только насмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные еврей местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он насмехался, когда мы трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупаются каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейнгауз... И тогда, видя перед собою зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитою ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейнгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И

тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечеными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станции Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказа, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культурабиту и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительную пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого роста, вполне гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились, как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята, — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный Кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужась и на горизонте полно туч. Но слова мои отскочили от героической пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и вместо всего разговора получилось у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побежденные. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников по-

вытаскать из-под нас сонных одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки. Не однажды примерялись они к нам ради одежды сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме с наганами. И отстрадавши так неделею с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежды, вытканной матерьями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой это карусели пехота стучит костылями громко до ужаста и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она. Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах, не отвоевалась она, а только, отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предупуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, т.е. без того предупуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предупуревкома, мы обратили внимание на гражданина пожилых лет в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то ту-

да, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперевивку с ними местные работники указывают на контору в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Также и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалуете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, т.е. оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какого, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела и острог постылых ребер...*

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем доме, измена закинула за спину штилеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом доме...*



ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов¹. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Воыним, начдив шесть, воыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказаания идет на рысях к месту происшествия.

— Воыним, начдив шесть, воыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни. Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Штаб армии, рослые генштабисты в штанах, краснее, чем человеческая кровь, делали гимнастику за его спиной и пересмеивались*. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному*, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картина, и смеется над тобой...

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль.

Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стремением.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему, — вель у тебя ребер нету?..

— Положил я на эти ребра, — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком, — дай послушать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор.

Тот вздрогнул и сказал тихо:

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры, — сказал он со страстью, — в Москве, в древней столице борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою, — отдаленно запел Павличенко за спиной команларма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казак начдива был оборван, мясистое, омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладую Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали рядом на длинных рыжих кобылах, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и блед-

ная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Две пухлых сестры в передничках укладывались там на траве. Они толкались молодыми грудями и отпихивались друг от дружки. Они смеялись замирающим бабьим смешком и подмигивали мне снизу, не мигая. Так подмигивают пересыхающему парню деревенские девки с голыми ногами, деревенские девки, взвизгивающие, как обласканные шенята, и почувшие на дворе в томительных подушках скирды. Подальше от сестер* лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплишев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и о каких-то оческах льна, а Дуплишев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о деншике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей, и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплишев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка? — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплеп все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич², обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерплюю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего, спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждоленно мне наказывает: «К тебе, говорит, Степа, при таком же-

ребце многие проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году»...

— Вас, небось, по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому, небось, и ничего, молчишь, только пугыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать. Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю с шпорой в стремя. — Привезла да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца. Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь:

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч...

— Бежит, не бежит, — закричал Дуплищев и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль

Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова: Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду эсаулом Яковлевым. Построив всадников в карре, эсаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на его груди, как икона на мертвецце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но карре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Эсаул устоял на этот раз, и

мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша, неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решился на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — завороты мне бойцов, душа из тебя вон...

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, он взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку:

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороты коня...

— Кобылячий хвост завороты, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороты, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался, он обнимал мое плечо и наклонял глаза все ближе.

— Твоя вперед, — повторил он чуть слышно. — моя за тобой следом... — и легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, зашекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни

Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами в мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев, — посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь, — али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя, — передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору...

— Стрелять, — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку, — этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал, где тому причина?..

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет, — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром, — где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет...

— Значит ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо, Иван?..

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством, — ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан, их в расход пу-скать можно, они Бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты Бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морды стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под

могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека.

Галиция, сентябрь 1920 г.



ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись домой рано, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло шами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее шах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка-Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он ото всех отвернулся и, зная чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»...

Я любил эту песню, в любви к ней я доходил до возвышенного сердечного восторга*. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона, у станицы Кагальнической.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальнической. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, — но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устлал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летала над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах¹, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка усмирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»...

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой

подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня. — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружие мне выложил... Это грех от Бога — мне оружие выкладывать, ведь я женщина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу*...

Но баба как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои ши, мне люди одну оружие показывают, а и попадетсЯ хороший человек и посластитьсЯ бы с ним впору, да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика; Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.



СЫН РАББИ

...Помнишь ли ты Житомир, Василий?
...Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала¹, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут Чернобыльских цадииков звякал медяшками в изодранном кармане...²

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка³, и повисшее над Торами безжизненное покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал уползать по мертвой спине полей. И чудовищная Россия, неправдоподобная, как стадо платяных вшей, затопала лаптями по обе стороны вагонов*. Тифозное мужичье катило перед собой привычный

горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок Троцкого*. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломленного надвое солдатской котомкой⁴, что мы, преступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стучались о ржавое железо ступенек, две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное, застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую нежную курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом⁵. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скучным дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны⁶. Печальный дождь заката обмыл пыль моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский...

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель, — закричал он с отчаяньем. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

*

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок⁷. Мы похоронили его на забытой станции. И я — едва вмещающийся в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.



АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя в раз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23 кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных.

вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что не замечен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казачью рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибывался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при 15-й пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъ-

едали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелойковки Аргамак начал засекаяться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отошал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят верст. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все помогает, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?..

— А неужли ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он, не оборачиваясь, — это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомоллову, он знал Пашкиного отца, там, на Тереке.

— Евонный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит... Боевитый ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо, махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня и нету. Ты, зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужил ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город за сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрый из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомоллов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так верно строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался

пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбил от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Они волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступенях костела и парил себе в локхани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Ключья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Паша стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще Пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распушены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал

Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор, — я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, замечая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Еще что-нибудь, скажи.

— Еще скажу*...

— Я тебя вижу, — прервал меня командир, — я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задержал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь с своим дыханием, — это скука получается... Пошел от нас к трепанной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6 эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы там ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

ОДЕССКИЕ
РАССКАЗЫ

КОРОЛЬ

Венчание кончилось. Раввин устало опустился в кресло. Потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота, на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — эти заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груди разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин. Над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой.

— Ну, хорошо, — ответил Бенья Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана.

— Я знал об этом позавчера, — ответил Бенья Крик. — Дальше.

— Он собрал участок и сказал им речь.

— Новая метла чисто метет, — ответил Бенья Крик. — Он хочет облаву. Дальше.

— А когда будет облава, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала мне тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Он собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал пристав, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там — сегодня нужно сделать облаву».

— Дальше.

— Так шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Бенья рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал самолюбствие* мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Бенья знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернуться через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот — все.

За стол сели не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

На первом месте сидел жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Бенья Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без

одной? Тут все дело в налете. Год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо:

«Мосье Эйхбаум, положите, прошу вас, под ворота на Софиевскую, 17, завтра утром двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет от вас говорить. С почтением — Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, факелы расцветали, как огненные розы. Работниц отгоняли выстрелами. Налетчики стреляли в воздух, потому что если не стрелять в воздух,—то можно убить человека. Когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — Эйхбаум, выбежавший во двор в кальсонах, спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в квартиру, Беня.

Они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — во двор выбе-

жала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Бенья без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги. Вечером он явился с визитом. Под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет. Он просил у Эйхбаума руки его дочери Циля. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги¹. Я брошу специальность, Эйхбаум, я поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции...² И вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем говорить об этом громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Бенья Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Бенья вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. Теперь вернемся к свадьбе Двойры, сестры Короля.

К ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками качались цветы, как пышные плю-

мажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенный прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Морган и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенный прибой одесского моря*.

Еврейские нищие, насосавшись, как трэфные свиньи, оглушительно стучали костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазком оглядывал бущующее* собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было, как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались чрезмерным скоплением посторонних. Потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг только тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы³, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Непередаваемым небрежным движением рук кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, нити из коралла. Подтягиваясь и выпячивая животы, вставляли они со своих мест*.

Аристократы Молдаванки — они были затянuty в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах с косточками

лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, со-рокалетняя Двойра Крик, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезавшими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся легкий запах гари.

— Бенья, — сказал папаша Крик, старый биндюжник⁴, слывший между биндюжниками грубияном, — Бенья, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа.

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, закусывайте и выпивайте, пусть вас не волнует этих глупостей.

Папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. И где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, как псы. Бабы взвизгнули. Налетчики переглянулись друг с другом. Бенья был безутешен.

-- Мне нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

В это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — разрешил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек, хихикая, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочки онемели. Налетчики усмехнулись. Ше-

стидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Бенья Крик, — холоднокровней, Маня.

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, разобрал смех. Он хихикал, как застенчивая школьница*.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — пошли на облаву, так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось*...

Бенья запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, трясая задками, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбежались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Бенья, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие. — произнес он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он тупо уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

Когда Бенья вернулся домой — во дворе уже потушили фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись. Музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Двойра подталкивала мужа к двери их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я. — Реб Арье-Лейб, — сказала старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три черных тени загромаждают пути моего воображения. Вот одноглазый Фроим Грач. Рыжая сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Простодушное бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой и немеркнущей звезды? Но почему же один Бенья Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец, он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бин-

дужник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Бенья. — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу. — ответил Грач, — я тебя попробую.

И они собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Бенья говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его по-

тому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько их было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городского в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая торговка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвела на его контору не восемь налетов и не десять, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он—наша кровь. Он—наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софиевской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят его, Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши молдаванские вынули из гроба пулет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Бенья, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с до-

ждевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления:

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы писал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина. И скажу тебе, положив руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе. — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто же будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с Божьей помощью, кассу! — приказал ему Бенья, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы, покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Бенья рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Бенья о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Бенья,— пусть бы он мне сказал,— так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, —

и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы, — крикнул Бенья и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Бенья. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:

— Я имею интерес, чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. А если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктор философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Бенья?

— Полиция кончается там, где начинается Бенья, — отвечали разумные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц»¹. Среди бела дня машина полетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем

сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила, хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой нестерпимый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость...

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не ошибкой было поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду. И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до

вашей смерти. — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоромах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите об них у шамесов из синагоги торговцев кошерной птицей* или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестидесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лапканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я — Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге.

Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи и с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы. Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти. И есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после

того как, мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я попрошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса.

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида, — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фазтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ

Первое дело я имел с Бене́й Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив¹. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

... Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

... Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побег. Обремененный побегими — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побегимы хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «*primo di primo*», к тому же специалисты по своей бранже². Лавка у них была

полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Бенья.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — прирола и дикий виноград.

— Так и так, Бенья, — говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я королю, — так я должен высказать свое мнение. Помоему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло беспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка, — сказал ей тогда Бенья, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может.

— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично, — подхватывает Бенья Крик, — помнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, —

обращается ко мне король, — в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, — сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum, как говорят немцы»³.

И был день пятый. И был день шестой⁴. Суббота прошла по молдавanskим улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке слышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за теле-

графный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть).

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно, — ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим...

— Молчать, — произнес Бенья Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье. Бенья сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну, вот, — прокричал тогда Колька, — Бенья хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал король, — веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне. Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиривший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они стали друг перед другом. Бенья стоял, и Шифт стоял. Они начали здороваться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шею, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля, — спросил наконец король, — кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Бенья, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Бенья, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет, — обращается Бенья к одноклазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, газетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра или нет, часа в четыре утра, а

еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга прыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз. — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, малам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что сердчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для вас, Бенчик, одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не смей бить моего Цудечкиса! Не смей!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват, и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король

— нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В этом доме помещается винный погреб, постоянный двор, овсяная лавка, много других лавок и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и еще участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня является собственностью сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на охотницкую со своими голубями и продает их чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на прославленного молдаванского раввина нашего Бен-Зхарью. Об Цудечкисе этом я знаю много интересных историй. Первая из них — это история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоянный двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке, для того чтобы отпраздновать покупку молотилки. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и на утро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку.

— так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Видно, что вы аферист. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы третий старик...

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом придет Любка с каменоломни и, с Божьей помощью, вынимет* из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в Бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собою ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книжку «Чудеса и сердце Баал-Шема»¹. Она читала хасидскую книжку с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В этой люльке лежал Любкин сын. Давилка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине², — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что вот он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, а мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Мелвель», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках³. Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю

молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца⁴. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цалик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем, и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

И Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обесиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Тарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким залившимся сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и в голубых молниях июля, и неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, испанское море накатывалось вдаль на Пересыпь⁵, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воле Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру только в пятом часу вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвйс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил:

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите, дайте ему шищу...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка: весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина, отворачиваясь, и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?... А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный свой локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн⁶, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с со-

бой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем — они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнувшим солнцем и клопами. Сумерки побежали уже по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный. — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием:

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала тогда Любка, — цыть! — и бросила в старика камнем, но не попала с

первого разу и схватила пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал тогда старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захламленному двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании, и оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взяли за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висючая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда, она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубашке запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Ах, вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать, — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось об гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее с жадностью.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка. — Открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать у него голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин наш Бен-Зхарья. Цудечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности пятнадцать лет⁷, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку называли Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине, в своекорыстном подслеповатом городишке*. Старуха не любила своего зятя. Она говорила об нем: Фроим по занятию своему ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так:

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он окончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель*.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — кака-то женчина колотится до твоего помещения.

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки, я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку с коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать сразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валяющиеся на полу. — Но я выведу этот грязь, — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел сразу, пахнувшую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штiblеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась на Дальницкой, и налетчики проехали уже на Глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с чудовищным букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии, они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки. Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо Баськи Грач и подмигнули ей. Они прошли мимо* нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались ме-

жду собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если бы она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своеобразного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика—у него ножки, как куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик,—я вижу, что дите ваше просится на травку...

— Вот марокка на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом, груди холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям, беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поно-

шенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Модаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неустойчивости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубах и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку на следующий день и отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой, на стойке этой были выставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз, — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на

столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделаться. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся, — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость...

И он заговорил о новом сорте чаю, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо; но потом прервал, потому что он был простой человек без хитростей.

— Я простой человек без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика, — не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре¹, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам Бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю, — прервал лавочника Грач с ужасным спокойствием*, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня.

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристройку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи².

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал козух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжничьи ваши манеры, и отчего вы молчите как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес тогда Грач с ужасным спокойствием*, — Соломончик тебя хочет, но мадам Капун не хочет меня... Там ищут бакалейщика...

И, поправив козух, старик снова полез под телеги: а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестящую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки³ к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоянный двор Любки Шнейвейс, прозванной Любка Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошельем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на

камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за нею ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо.

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите чего-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на земле. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что кто кончается по дороге от Бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грязными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как искалечили его собственные сыновья — старший Беня и младший Левка⁴. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики⁵ с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали в оцепенении неслыханную похвалу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим полозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, сначала на Бога, потом на вас...

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один Бог на небе...

— Бенья Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском⁶, чем плох тебе Бенья Крик?

— Бенья Крик, — повторил Грач, полный удивления, — и он холостой, мне сдастся?..

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди...

— Бенья Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнейшее эхо, — я не подумал об нем.

Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за нею следом. Они прошли двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, -- и она прошла в крайнюю комнату, где Бенья Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка

молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Бенья, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа у запертой ее двери, два часа * и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша, все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом, старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Бенья открыл, наконец, дверь Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Гра-

ча, прославленного налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье⁷. Они сошлись на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Бенья Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — Бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за оградлы, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЗАКАТ

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын, — сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша, — ответил Левка, — возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка, — сказал сын. — Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу, — сказал папаша Крик, — а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель, — завизжала она, — набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет...

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату сво-

ему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем:

— Бенчик, — сказал он, — возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время, — ответил Бенчик, — но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дороге. Оно тронулось в путь — время, древний кассир, — и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На гибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Со-

ломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами¹, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета скорой помощи, и Манассе неумолимо висел на железной руке.

— Папаша, — сказал тогда отцу Левка, — в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груды железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

— Время идет, — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась, — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась, — говорил он и смеялся, как дитя, — горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин, — сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги, — ответил папаша, — и она сделает себе вычитку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик, — сказала она, — я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда не было больше десяти.

— Убьем папашу, — сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Погрома, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы, — кричала она, — свои бабы и чужие бабы, Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик для того, чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья.

— Аминь, в добрый час, — ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноклазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец, — сказал он, — а мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать, — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле, налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас...

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и... умолк. Люди, рассеявшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. — Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугом. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтоб не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неопикуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос.

— За Левку, — сказала она, — за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей, — и провалила панаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей.

— Не молчи, Мендель, — сказала она шепотом, — кричи что-нибудь, Мендель...

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бороною кверху.

— Какую, — сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка, — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного, — сказал Пятирубель, — позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видал я еще того хлопца, который кончит старого Крика...

— Уже вечер, — прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся, — уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб, — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину, — не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

— Вставай, старый ломовик, проположи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы...

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами.

— У меня нет площадок, — сказал папаша Крик, — меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом

на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Бенья, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беньей Королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслышанный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, сн уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу-Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку, — сказал тогда Бенчик младшему брату, — держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдастся мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и

воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое на строение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с, — приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим, — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой. — Анисим, сердце мое, отпри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин, — сказал он, — прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин...

— Ты отопрешь мне ворота, — прошептал папаша еще тише. — я знаю это, Анисим, сердце мое...

— Вернись в помещение, Анисим, — сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое, как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Бенчик, — сказал старый Крик, отступая, — где конец мучениям твоего отца...

— О, низкий отец, — ответил Бенчик, — как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. — Я мог, Бенчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. — Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отойдите от ворот, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много...

— Папаша, — ответил Беня, не поднимая глаз, — вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатила по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай, — кричала она, катаясь по земле, — Мендель Погром и сыны мои, байстрюки мои... Что вы сделали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость...

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она испаранала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор, — ревела мадам Горобчик, и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их. — старый вор, мой старый Мендель...

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И

Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти, как грушу.

— Бенчик, — сказал он, — мы мучаем старика... Слеза меня точит, Бенчик...

— Слеза тебя точит, — ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. — О, низкий брат, — прошептал он, — подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропалал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втокнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков. Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим, — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima², как для своего, и осмелитесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на английский морской двубортный, на английский сухопутный одnobортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный...

— Какую робу желаете вы себе справить? — спро-

сил тогда Бенчик папашу Крика. — Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца, — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза, — такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский, — прерва отца Бенья, — то ему наиболее подходящее будет сучопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский поддался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль, — сказал он.

— Моя мысль такая, — ответил Бенья, — еврей³, [отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря Бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конен этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...]

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск¹, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Олесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов — они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц прежде, чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой пол-бутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию...² Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера: в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где малам

Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, ... сказал Миша, снимая шляпу, мы бесподобно провели время. Воздух — это что то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем. Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, -- произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны, — где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол и сканил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала. Соседи сбежали на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломил череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер пол ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся и несколько дней прошло прежде чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром.

Одна бровь ее, мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха... — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бичевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъявшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черенков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим льдом своих кухонь и площадь Толкучего рынка, где

люди, завернутые в занавеси и гардины, пролавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой. — тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуролованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пустой, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет и в чоботах у меня ничего нет и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтобы поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под бре-

зентом у стены, увитой плющем. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец покраснелся, глаза его блестели, картуз сбился на бок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие...

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Grimаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи разбившись на группы, начинали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным Управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целя история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Си-

мен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони¹. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудренцы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься»².

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пуле-

метами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносом в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве...

Арье Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальщиков, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальщиков сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе

их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из си-ней похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала ему Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье, — пробормотал он, — свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вы-

шла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек не достоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с Божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не ломучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье. — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон Вольф, — нас не во что колоть... у нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии³, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — Богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не понимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче: он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб. — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу. — ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой волдой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татареспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени...

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи тысяч людей, которые живут хуже тех, которые живут хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину

Берзону на угол Дерibasовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Фелька Степун в матросской рубашке.

Фельку контузили когда-то под Ростовом⁴, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Фелька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Фелька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Воронье дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Фелька. — нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Фельки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воюющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках,

требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей, — матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль молей рахамим»⁵ над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим», — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»⁶...

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахара и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замершим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призываемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок; вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить... Со мной можно ладить... — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоя-

щуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей⁷. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плессы, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать, — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается...

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опутив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и Чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи¹ была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоев. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватывать мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Лучше их голубятни в городе не было. Сыновья кузнеца выходили на Александровский рынок с сотней пар голубей. Перед самой войной они начали водить почтовых голубей. Это была фабрика птицы; они занимали места столько же, сколько и сама кузница. Нельзя было и мечтать о том, чтобы перешибить Иойниных сыновей. Их было трое*. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лошадей — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца была набожна изуверской набожностью. На родине ее в волынском местечке Медзибож родилось учение хасидизма*. Старуха ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и субботу утром; синагога была хасидской, там доплясывались на Пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным гу-

берниям галицийские цадики² Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к Богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать, двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском; другой Брутман — Семен перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка, и потом, когда дивизию развернули в корпус, он стал комдивом*. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта видная по неожиданности и живописности своей порода* еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на заведенных старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поля. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо У женщин свое хозяйство: постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы — старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги³, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после

приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга — Быгачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Быгач, — ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила поставить процесс показательным судом на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман — шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье⁴. Я помню, как он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли бешеным весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышашую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей; он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазами, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для красного Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья швыряли деньги в его тарелку. Жены выти-

рали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик податей. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его нескончаемом обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем жреца* Нафтула, кудлатый орешек его головы болтался низко, где-то у ног конвойных. Гений расы говорил в старике — он сохся на суде, съежился, уменьшился неправдоподобно*.

— Верите ли вы в Бога? — спросил его прокурор

— Пусть в Бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил Нафтула.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, ночью, в дождь, с новорожденным на руках?

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Он теснил Нафтулу все ожесточеннее*. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал десятки тысяч детей опасности заражения. Голова Нафтулы болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую... И, слава Богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис⁵. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти и что Нафтула не захватил вместе с

этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

Он заморгал медвежьими глазками, горестно покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема,—значилось в записке, — убей его иронией; убивает исключительно смешное... Твой Саша».

Зал приутих, когда ввели свидетеля Белоцерковского. Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы... Приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району 64 тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко, как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Она, шатаясь, подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на нежном лбу

стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые щиблеты, — и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, он сорок лет проработал в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала оттого, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут еврейми. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Медзибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...⁶

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу. Кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — прошептал голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион⁷ существовал в наши дни, — Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской...

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его дусенькой.

— Почему именно дусенькой?

— Я всех детей называю дусеньками.

— Идем дальше, — сказал Лининг, — зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть. — Идем далее. Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?..

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вы пользовались?

— На Нежинской улице, у доктора Дризо.

— Пользовались у доктора Дризо?..

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку, — безжизненное, ушастое лицо Лининга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шопот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена...

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкасы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его

лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, руки ее соскользнули с барьера. Детский плач раздался в это мгновение. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля? — густым голосом сказала старуха, — ребенок с утра не кормленный. ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, полобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв! — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить! — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались...

— Припутана дочка, — сказал скуластый рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле...

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтение и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала: портрет окружали цветные диаграммы выработки на фабрике имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к

киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка, лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

--- Он военный будет, — сказала девчонка, — ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

-- Зачем военный. -- сказала она, поправляя ему чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими заключение, полное иезуитской уклончивости*. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

-- Долой их! — крикнул комсомолец, пробравшийся к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки. Женщина была чуть рябовата*.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью—Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед

Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него... Мало кому было дела до меня...

— Не может быть, — шептал я сам себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливей меня...



И. Э. Бабель (1933). Рис. В. А. Милашевского.

Симон Маркиш

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСААК БАБЕЛЬ

Бабель прекрасно вписывается в советский литературный пейзаж 20-х годов. «Конармия» тематически стоит в одном ряду и с партизанскими рассказами и повестями Всеволода Иванова, и с «Чапаевым» Фурманова, и с «Разгромом» Фадеева, и с великим множеством иных сочинений о гражданской войне. Ее натурализм и жестокость, буйство темных, стихийных сил, раскованных революцией, несколько не примечательнее и не страшнее, чем у того же Всеволода Иванова или Артема Веселого. Ее цветистый слог несколько не цветистее и не ярче, чем волшебная словесная ткань Андрея Платонова, или отважные эксперименты «Серапионовых братьев», или неповторимый колорит «Тихого Дона». Бандитская экзотика «Одесских рассказов» и «Заката» находит себе параллель в общем интересе к преступному миру (например, «Конец хазы» В.Каверина или «Вор» Л.Леонова), а с другой стороны — к окраинным и «иностранческим» (в том числе еврейским) сюжетам. Даже пресловутое молчание Бабеля, его катастрофически малая продуктивность после «Заката» (1928) и относительная слабость этой скупой продукции по сравнению с вещами 20-х годов суть лишь предельная форма болезни и кризиса всей советской литературы, открывшихся при переходе к 30-м годам. Сталин не обмолвился и не преувеличил, назвав 1929 год «годом великого перелома». Это был рубеж не только великих экономических и социальных потрясений (истребление крестьянства, индустриализация, начало нового самодержавия, начало нового, послереволюционного террора), но и коренной перестрой-

ки, реадаптации юной советской культуры. При всей слепоте и случайности «великих чисток», косивших направо и налево без разбора, им нельзя отказать в известной закономерности, о которой можно судить по результатам: уничтоженным оказалось, в первую очередь, все выдающееся из ряда, не схожее с прочим, не способное проворно, без колебаний и возражений встать в стройные шеренги, ведомые партией. Есть, разумеется, и исключения, но не случайно, к примеру, что Тициан Табидзе и Павел Васильев сгнули, а Николай Тихонов и Александр Прокофьев сохранились и процвели. Не случайна и гибель Бабеля. Ему не было места в советской литературе 40-х и 50-х годов.

И однако же Бабель достаточно очевидно и резко отличается от своих литературных сверстников. Прямой этот отличия — главный предмет интереса критиков и при жизни писателя, и после его официально-воскрешения, посмертной реабилитации. Проще всего говорить о таланте, который всегда отмечен «лицом необщим выражением». Есть веские резоны и в рассуждениях о жанровых поисках, об особом аспекте запоздалого романтизма, об особенностях характера и личной судьбы. Не отклоняя этих соображений и резонов, я хотел бы сосредоточиться целиком на одном обстоятельстве первостепенной важности — на принадлежности Бабеля к русско-еврейской литературе.

Я не имею в виду еврейское происхождение или еврейский склад ума Бабеля. Об этом писали и раньше, и в сравнительно недавнее время. Так, в прекрасной статье Паппа Гольдштокского читаем: «У Бабеля — страстный, сухой и точный еврейский ум. Важная особенность и сформированная строгость мысли делают его рисунок уверенным и острым» (И.Э. Бабель. Статьи и материалы, А. Шестер, Ленинград, 1928, стр. 46). И еще: «Бабель томит густая печаль воспоминаний. Прошлое («истлевшие талмуды его воспоминаний») цепко держит его в своей власти. Он не способен на суровые действия» (там же, стр. 68). Автор небольшой монографии о Бабеле Юди Штора-Шандор придает важное значение еврейству Бабеля — религиозности,

знанию идиша, детским и юношеским занятиям ивритом. Библией, Талмудом, верности еврейским традициям (бытовым и семейным), увлечению хасидизмом (которое, по мнению Шторы-Шандор, привело его к толстовству) — и заключает: «Именно благодаря еврейским занятиям Бабель, советский писатель, стал одновременно писателем еврейским. Сделавшись устами своих единоплеменников, но не замкнувшись в тесных рамках ограниченной общины, как писатели-идишисты, Бабель хотел доказать реальную возможность объединения душ — еврейской и русской» (Stora-Sandor, Judith, "Isaac Babel. L'homme et l'oeuvre", Paris, 1968, p. 20).

«Еврейский ум» с украшающими эпитетами положительной окраски — похвала, а не объяснение. (Окраска может быть и противоположной, и тогда выходит брань, например: еврейский ум, алчный, безжалостный, изворотливый). Такую вольность, как «острый галльский смысл и сумрачный германский гений», вправе позволить себе поэт, но не критик. Я не вижу принципиальной разницы между умом Спинозы и Декарта, Кафки и Камю. В такого рода различиях есть и привкус расизма, и истерия диаспоры. Иное дело — еврейское наследие («прошлое»), сознательно усвоенное и принятое или сознательно же отвергаемое. Но Новицкий связывает с «прошлым» лишь слабость, нерешительность, а Штора Шандор, произнеся ключевое определение: «еврейский писатель», окружает его туманом недопонимания и даже прямого непонимания. Бабель не «стал» еврейским писателем, но был им изначально. Он не выбирал языка для своего творчества, как скажем, Менделе Мойхер Сфорим или Бялик, русскоязычная литературная традиция была для него не просто естественной, органической, но и единственно возможной. Что же касается оппозиции «замкнутость идишистов — универсальность Бабеля», а равно и поисков объединения душ, то оба эти утверждения просто лишены смысла как с фактической стороны, так и, в особенности, методологически.

Ко времени первых литературных опытов Бабеля русско-еврейская литература была уже сложившимся

явлением. Она возникает вслед за первыми ростками еврейского Просвещения (Гаскалы) на российской почве. Движение это, стремившееся вывести еврейство из изоляции, из гетто, одну из главных своих задач видело в приобщении евреев к культуре, и прежде всего, к языку коренного населения. На родине Гаскалы, в Германии, немецкий язык усваивался быстро и успешно как благодаря близости к идишу, так и в силу сравнительного (против России) материального благополучия еврейского населения. В Российской империи последователи Мозеса Мендельсона, отца Гаскалы, встречались с громадными трудностями. Но, вопреки ужасающей нищете и скученности еврейских масс, непоследовательной политике правительства, то покровительствовавшего, то препятствовавшего просвещению евреев, — в надежде на их ассимиляцию, в страхе перед «еврейским засилием», — и решительному повороту к стеснениям и ограничениям при Александре III, русско-еврейская литература развивалась сама и развивала своих читателей, расширяла их круг. Уже на стыке прошлого и нынешнего веков и, во всяком случае, в канун Первой мировой войны русский язык стал еще одним языком еврейского рассеяния. Несмотря на решительное и даже несопоставимое преобладание идиша, известная часть еврейской интеллигенции и буржуазии (по преимуществу в Одессе, Киеве и Петербурге) уже была русскоязычной, существовала обширная и талантливая русско-еврейская публицистика, историография, беллетристика, наконец: выходили во множестве периодические издания и книги. Подъему русско-еврейской литературы в начале XX века способствовал новорожденный сионизм: отрицая идиш, он принимал русский — как переходную ступень к возрождающемуся ивриту. Достаточно напомнить, как виртуозно владел русским словом Владимир Жаботинский.

Русско-еврейская литература дореволюционного периода была литературой на русском языке, создававшейся евреями для евреев и так или иначе сопряженная с еврейской тематикой. Определение это, по-видимому, универсально и не признает исключений. Даже если русско-еврейский писатель привлекал внимание русской читаю-

шей публики (к примеру, поэт Семен Фруг или — позже и в значительно большей мере — прозаики Давид Айзман и Семен Юшкевич), он оставался за пределами собственно русской литературы, воспринимался как нечто чужеродное, экзотическое. Да так оно было и по сути. Ведь несмотря на общность языка, африканский писатель-франкофон — чужак для француза и к французской литературе не принадлежит.

Революция изменила положение дел коренным образом. Оставляя в стороне перемены социальные и политические, перевернувшие жизнь российского еврейства, задержимся на одном обстоятельстве общего характера, до сих пор не привлечем, сколько можно судить, должного внимания. Советская власть, действительно, создала новую, единую культуру, только не «социалистическую по содержанию и национальную по форме», как гласит официальная формулировка, а имперско-российскую, непрерывно вбирающую все лучшее (доподлинно или конъюнктурно — в данном контексте не имеет значения), что рождает провинции. Лишь русский перевод, исполнение на московских подмостках, показ на московском экране или московской выставке дают произведению искусства настоящую жизнь. И, за ничтожными исключениями, деятель любого искусства тянется к этой настоящей жизни. Возникает (разумеется, *mutatis mutandis*) любопытная аналогия имперской культуре Древнего Рима, которую творили объединенными усилиями и италийцы, и галлы, и испанцы, и африканцы, и греки, причем чем дальше во времени, тем более значительным становился вклад провинциалов в общее дело. Но то же и в советской литературе: сегодня, в начале седьмого десятка советской власти, советская литература непредставима без белоруса Василя Быкова, грузина Булата Окуджавы, абхазца Фазиля Искандера, киргиза Чингиза Айтматова (все они либо пишут по-русски, либо сами себя переводят на русский язык). И еще одна параллель с Древним Римом: как среди провинциалов были и Сенека, в творчестве которого испанское его происхождение никак не отразилось, и Апулей, эллинизированный североафриканец и в жизни и в литературе, так и

Окуджава — грузин лишь по имени, а Сулейменов — отчаянный казахский националист. Иначе говоря, у инородца, вступившего в имперскую русскоязычную литературу, национальный показатель колеблется в самых широких пределах, так что в крайних, предельных ситуациях возникают русско-инонациональные ветви; так, в случае с Олжасом Сулейменовым мы очевидным образом имеем дело с русско-казахской (или, возможно, русско-тюркской) ветвью советской литературы.

Все это необходимо иметь в виду, если мы хотим понять судьбу русско-еврейской литературы и ее роль в советское время. Как самостоятельное и обособленное культурное явление она была ликвидирована наряду с литературой новоеврейской (ивритской). Это была политически мотивированная, насильственная акция, один из важных ходов в борьбе большевиков против сионизма и национально-культурной автономии, последовательное осуществление большевистской программы, выдвинутой еще до революции. В течение 20-х годов повременные русско-еврейские издания постепенно закрылись, крупнейшие деятели русско-еврейской литературы умерли, ушли в эмиграцию, замолкли. Но с самого начала в русскоязычную советскую (имперскую) литературу вошло значительное число евреев. Многие из них никогда и никаким образом не проявляли своей принадлежности к еврейству, даже и в ту далекую пору, когда это не только не порицалось, но положительно поощрялось. Назовем, в качестве примера, прозаика Вениамина Каверина и поэта Александра Безыменского (уровень таланта в данном случае безразличен), для времен же более поздних особенно характерен Эммануил Казакевич, который начинал как писатель на идиш, а после войны перешел на русский язык, и во всем его русскоязычном творчестве нет и следов чего бы то ни было еврейского. Однако немалая часть русских писателей еврейского происхождения обнаруживала (и обнаруживает) национальные черты, опять-таки — в весьма различных дозах и формах, зависящих от общих обстоятельств и от личной судьбы каждого из них. Так, 20-е и 30-е годы особенно в этом отношении богаты (свежесть и непо-

средственность воспоминаний об обособленной еврейской жизни, отсутствие государственного антисемитизма), последние годы сталинского режима (пик антисемитского террора) — почти стерильны, вторая половина 50-х и 60-е годы — новый подъем, но совершенно иной, чем в 20-е годы (взрыв ущемленного национального достоинства при скудости или даже полном отсутствии положительного национального самосознания, национального «багажа»). Но как бы ни были различны эти формы и дозы, произведения с еврейской ориентацией образуют известную общность, о которой мы вправе высказать, по крайней мере, два суждения:

1) Она представляет собою первую по времени и — по ныне — самую значительную инонациональную ветвь в русскоязычной советской литературе.

2) Несмотря на важные различия (важнейшим из которых следует признать органическую принадлежность к имперской литературе, неотторжимость от нее), она выступает прямой наследницей дореволюционной русско-еврейской литературы; изучать и толковать ее должно в связи — в противо- и сопоставлении — с этой последней.

К этим двум суждениям хотелось бы добавить следующее предположение или, если угодно, пожелание:

Типологические сопоставления русско-еврейской литературы советского периода с современными американско-еврейской, англо-еврейской, франко-еврейской литературами необходимы и могут оказаться чрезвычайно плодотворными, в высокой мере поучительными как для специалистов в различных областях гуманитарного знания, так и для широкой читающей публики.

У истоков же русско-еврейской литературы советского периода стоит Исаак Бабель. Или, лучше сказать, он сам и был ее главным истоком, надолго определившим и особенности ее, и развитие, и роль внутри советской литературы.

* *

*

Бытовая и культурная среда, из которой Бабель вышел, сыграла важную роль в его творческой биографии. Он вырос в Одессе, в зажиточной семье. (Здесь нелишним будет

отметить, что многие детали в рассказах автобиографического цикла вымышлены от начала до конца; нет ничего от истины и в утверждении: «Я происходил из нищей и бестолковой семьи» — рассказ «В подвале»). Еврейское население, которое в год рождения Бабеля (1894) составляло треть, а в канун революции — половину Одессы, в значительной своей части далеко ушло от традиционной, замкнутой жизни старого еврейства. Разумеется, это был путь ассимиляции, но совсем не в том смысле, который вкладывается в это слово сегодня, а в прямом и первоначальном значении: *similis* — похожий, подобный; в сегодняшней терминологии скорее следовало бы говорить об адаптации или даже начальной ступени интеграции. Несмотря на погромы, гонения и ограничения, ситуация в какой-то степени напоминала американскую: сближение с окружающей средой при устойчивом чувстве национальной общности, с синагогой как центром скорее духовным и организационным, нежели собственно религиозным. Причем ситуация эта была уникальной для России, подобной атмосферы не существовало ни в каком ином центре новой еврейской культуры (Петербург, Киев, Вильно), независимо ни от политической и языковой ориентации, ни от объема культурной продукции. Не случайно так велик оказался вклад еврейской Одессы в зачинавшуюся советскую культуру.

В доме Бабелей, по словам сестры Исаака Эммануиловича, идиш был языком родителей, с детьми же говорили по-русски (Stora-Sandor, *op. cit.*, p. 19). Возможно, так оно и было, — это достаточно характерно для тогдашней Одессы, — однако Бабель знал идиш настолько, что редактировал собрание сочинений Шолом-Алейхема в русском переводе (“Babel. The Lonely Years. Unpublished Stories and Private Correspondence”, New-York, 1964, p. 302; письмо от 1.3. 1936; в дальнейшем при ссылках — LY), выражал желание перевести «Тевье-молочника» (LY, p. 369; 2.12.1938) и действительно переводил Давида Бергельсона (рассказ «Джиро-Джиро»). Но что еще важнее, он читал на идиш не только для дела, но и для собственного удовольствия — на своей даче в Передел-

кино под Москвой, вечерами, сидя у огня: в письме к матери он называет идиш «нашим языком» (LY, p. 366; 20.9.1938; к сожалению, переписка Бабеля с матерью и сестрой, опубликованная по-английски, по-французски и по-итальянски, до сих пор не увидела света по-русски, цитировать же Бабеля в обратном переводе было бы кощунством).

Бабель учился в коммерческом училище, где «обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и многовеликовозрастных бильярдистов» («Автобиография»). В этой разношерстной школе, так же как в портовых кофейнях и биллиардных, он усвоил не только язык русской классики, но и полюбил на всю жизнь специфический одесский говор, полурусское-полуукраинское наречие (так Бабель определял его сам, прибавляя, что оно очень дорого его сердцу — LY, p. 347; 26.11.1937), в котором до сих пор ощутимо сильное влияние еврейской интонации и фразеологии. В школе же выучился он и по-французски, настолько, что два года писал рассказы на этом языке. Но одновременно около десяти лет (с 6 до 16) изучал библейскую и талмудическую премудрость, так что смог авторизовать перевод на иврит шести своих рассказов (альманах «Берешит», 1926).

Штора-Шандор утверждает, что Бабель был религиозен. Это, скорее всего, неверно: слишком часто писал он и говорил публично, что Бога нет (см., например, речь на Первом съезде писателей, в конце), а подозревать Бабеля в двуличии или хотя бы в оруэлловском двоемыслии можно только совсем не зная ни жизни его, ни сочинений. Но религиозные традиции были неотделимой частью его натуры всегда. Он исправно поздравлял родных с Осенними праздниками и Пасхой, не забывая упомянуть, что и сам празднует по мере возможностей, и сожалея, что возможности эти скудны, убоги (LY, pp. 78, 100, 213, 221, 280, 318, 342, 359). Он справляется: ходила ли мама в синагогу (LY, p. 220; 2.10.1932), и, сам побывав в синагоге на Новый год в Одессе, сообщает: как все мне здесь до боли знакомо, я страшно рад, что пошел, и, как всегда, молился

особым образом, особому, другому Богу, прежде всего — за вас (т.е. за мать и за сестру) (*ibid.*, p. 318; 17.9.1936).

В этом «прежде всего» нет преувеличения. Любовь и привязанность Бабеля к семье, которая кажется удивительной, почти болезненной современному человеку, — давняя и очень важная традиция еврейской диаспоры, и писатель четко понимал природу своих семейных чувств. Когда он говорит, что каждый миг и час разделяет страдания своих близких духовно и отдал бы все, чтобы разделить их физически, он разъясняет: видите, в какого классического еврейского семьянина я превратился (*ibid.*, p. 160; 8 2 1931). То и дело вспоминает он в письмах и покойного отца; он клянется исполнить все, что обещал отцу, который ждал от детей не жалоб, а успеха, и потому мысли об отце придают сил и прогоняют отчаяние (*ibid.*, p. 87, 28.1.1927). Сознательно принимая традицию, Бабель пытался хоть символически поддержать ее и в своей — разрушенной отъездом жены за границу — семье. Когда у него родилась в Париже дочь, он просил жену называть девочку настоящим еврейским именем, но — напрасно: вместо Юдифи на свет появилась Наташа (*ibid.*, p. 127; 23.7.1929).

Вполне понятно, что Бабель любил Одессу, как ни один город на земле, считал ее единственным местом, где он может по-настоящему работать, мечтал вернуться туда, в Москву же приезжать только по делам (*ibid.*, p. 323; 25.10.1936). Понятно, что каждый приезд в Одессу, пусть и обедневшую, и опрощенную, доставлял массу радости. Душа и мозг освежались. Одесский говор ласкал слух. На улицах подходили продавцы газет, мусорщики, дворники, приветствовали, заводили самые невероятные, только в Одессе возможные беседы. После театра, в котором он выступил с несколькими ничего не значащими словами, вдоль всей улицы стояли тысячи молодых людей, не давали проехать машине (*ibid.*, pp. 288-289; 19.9.1935; 19.10.1935). Понятно и нежелание эмигрировать, остаться на Западе с матерью, женой, сестрой. Помимо искреннего советского патриотизма (об этом речь пойдет дальше), слишком важным было ощущение принадлежности к рос-

сийскому еврейству, к той культурной (в самом широком смысле слова) среде, которой не было нигде в мире и средоточием, квинтэссенцией которой была старая Одесса. Даже для такого в целом «пронзительного» писателя, как Бабель, необычно пронзительно звучат ностальгические строки об Одессе из коротенькой заметки «Багрицкий»: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться. Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...»

Но еврейской предыстории еврейских традиций и приязнностей, самих по себе, не достаточно. Писатель, или художник, или актер может с нежностью и тоскою вспоминать свою еврейскую юность, предпочитать фаршированную рыбу с огненным хреном всем яствам и брашням, лакомиться мацой и даже заглядывать в синагогу раз или два в году — это еще не дает ему места ни в еврейской культуре, ни в еврейской энциклопедии. О принадлежности к еврейской культуре можно говорить лишь тогда, когда весь творческий путь или существенный его отрезок складывается под воздействием еврейского самосознания. Для Бабеля момент осознания и выбора наступил довольно рано, еще до появления в печати. Сохранились два материала конца 1915 года — «Детство. У бабушки» и отрывок «Три часа дня», оба чисто еврейские тематически и, что гораздо важнее, по жизнеощущению. Первый из них — зарисовка одного дня, проведенного в доме бабушки. И старый дом, и уклад его, и хозяйка рожают в мальчике такой отклик: «Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться» («Литературное наследство», т. 74, «Наука», Москва, 1965, стр. 484). Знакомый быт и атмосфера вдруг преображаются, приобретая захватывающую остроту новизны и внушая, разом, и ужас (или, может быть, отвращение), и ощущение «своего», родного, неотделимого, неизбывного. По сути, тут — весь еврейский Бабель, корень его социальных

и эмоциональных оценок, основа его эстетики. Еврейство, будь то неколебимо традиционное, местечково-хасидское, будь то городское, просвещенное и эмансипированное, воспринимается двойственно, наследие и принимается, и отвергается одновременно. А это исключает и бытописание, и апологетику, и обличительство, характерные для старой русско-еврейской литературы, и дарит свежий и изумленный взгляд со стороны. Именно отсюда — экзотика обыденного и низменного, фантастическая острота линий, надрывный вопль красок. Но отсюда же и одиночество, неизбежная межеумочность, невозможность прибиться к какому бы то ни было берегу, обреченность быть всегда и для всех «другим». Позиция, дающая неоценимые художественные преимущества (которые Бабель и использовал с великим успехом, до конца) и задолго предвосхитившая позицию лучших мастеров американско-еврейской литературы, от Генри Рота до Сола Беллоу и Филиппа Рота. Позиция последовательного и бескомпромиссного неконформизма, обусловленного, в данном случае, национально; психологическая ситуация, достаточно характерная для послереволюционного российского еврейства, — вспомним знаменитый эпизод из «Хулио Хуренито» Эренбурга, где Учитель предлагает ученикам выбрать между «да» и «нет» и все отдают предпочтение «да», рассказчик же избирает «нет». Позиция, которая могла быть обусловлена и иными — социальными, религиозными, этическими, политическими — мотивами, как, например, у Андрея Платонова, писателя очень близкого Бабелю глубинно, несмотря на поверхностное несходство. Позиция, наконец, диаметрально противоположная позиции Эдуарда Багрицкого, программно отмечающего затхлое и проеденное молью еврейское наследье:

Я покидаю старую кровать.
 Уйти?
 Уйду!
 Тем лучше!
 Наплевать!

(«Происхождение»)

и литературного антипода Бабеля, несмотря на общую

любовь к старой Одессе, несмотря на личную дружбу, на горячие похвалы, которые воздал ему Бабель в упоминавшейся выше заметке.

Отрывок «Три часа дня» комбинирует «бессюжетное лирическое повествование, насыщенное точными психологическими деталями, образующими второй план», и напряженный сюжет «с увеличенной нагрузкой на речь персонажа» (И.А.Смирин. На пути к «Конармии» (литературные искания Бабея), «Литературное наследство», т. 74, стр. 472). Таким образом, задолго до «Конармии» и «Одесских рассказов», но в одно время с общей позицией и, очевидно, в связи с нею были найдены (по крайней мере, в принципе) те выразительные средства и та манера, которые стали неотделимы от имени Бабея.

Новизна позиции определяет новый подход к сюжетному материалу. Раньше невозможно было представить себе произведение русско-еврейской литературы на нееврейский сюжет. Теперь не меньшее, а, пожалуй, большее значение приобретает авторское отношение к материалу: двойной взгляд — изнутри и извне — углубляет изображение, сообщает ему объемность, которой оно не знало и не могло знать ранее.

Но если бы «извне» определялось только отрицательно, как «не изнутри», если бы «от всего хотелось бежать» означало побег в никуда, в пустоту, ни о какой объемности, бинокулярности не было бы и речи. Революция дала Бабелю вторую точку стояния, чувство второй принадлежности, такой же бесспорной, как первая. Выше я говорил, что даже самые лучшие, самые известные у нееврейского читателя русско-еврейские писатели оставались для этого читателя чужаками. Но писатель и сам чувствовал себя чужаком в русской литературе, гостем — не более. Советская русскоязычная литература была родным домом одинаково и для Бабея, и для Всеволода Иванова, и я убежден, что преданность Бабея советской власти, его любовь к Советской России, постоянные уговоры и заклинания, чтобы родные вернулись из эмиграции, особенно в 1934-35 гг. (LY, pp. 255, 267, 280-281; 14.4.1934.

13.12.1934, 17.4.1935), во многом связаны именно с этим. Возвратившись из своей первой заграничной поездки, он писал, что чувствует себя хорошо на родной земле: пусть здесь бедность, пусть много печального, но это его язык, его материал, единственное, что ему напрямую и до конца интересно (*ibid.*, p. 106; 20.10.1928). Те же чувства и мысли сохраняли силу и в 30-е годы (так, он взхлеб пишет сестре и матери о челюскинской эпопее) — несмотря ни на что. Потому что, так же, как еврейское наследие, советская жизнь была его законным достоянием; более того — его созданием.

Понятно, что, пока эта двойственная опора не была обретена, не было и настоящего Бабеля. Первые его рассказы одинаково слабы — вне зависимости от темы — еврейской («Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна») или нееврейской («Мама, Римма и Алла»). Первой его удаче — «Конармии» — суждено было оказаться и самой крупной, потому что нигде больше не упирался он в обе свои опоры с такой уверенностью и силою.

Кирилл Васильевич Лютов, герой-рассказчик в «Конармии», — не Бабель, хотя писатель дал ему имя, под которым сам служил в Первой Конной корреспондентом армейской газеты. Лютов — это его половина, еврейская половина, истощенно жаждущая обрести вторую, революционную, большевистскую, но — не теряя первой. «Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного Бога в стакане чаю?..» («Гедали»). Еврейство — ориентир и точка отсчета в неистовом, яростном и кровавом, но возделенном и недосыгасмом мире революции. Гибель героя и маролера Трунова не имеют к галицийскому местечку Сокаль никакого отношения, кроме географического. Но Лютов подробно (конечно, в бабелевских масштабах подробного — в двух абзацах) рассказывает о древних синагогах и рваных лапсердаках, о шумных перебранках ортодоксов с хасидами и заключает: «...Томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними...» («Эскадронный Трунов»). Знаменитое «Учение о

тачанке» завершается никак не связанным, на первый взгляд, с остальным текстом, а по сути дела важнейшим абзацем о галицийском и волынском еврействе. Сын жиитомирского рабби, «последний принц в династии» и «красноармеец Брацлавский», член партии, молившийся в синагоге отца, потому что не мог оставить мать, но потом постигший, что «мать в революции – эпизод», посланный организацией на фронт и принявший под командование сводный полк, умирает от тифа на грязном полу редакционного вагона. В сундучке его все так же перемешано, как в недолгой биографии: «мандаты агитатора и памтки еврейского поэта, портреты Ленина и Маймонида... страницы «Песни песней» и револьверные патроны». «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок... И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата» («Сын рабби»). Красноармеец Брацлавский — не только брат, он двойник Лютова. Он отдал все, ничего не прося и не притязая ни на что, кроме революционной солидарности. Но он умирает в одиночестве, под сухими, равнодушными взглядами «казаков в красных шароварах» и «двух толстогрудых машинисток в матросках», вырванный рукою «брата» из толпы «тифозного мужичья», которое «катило перед собой привычный горб солдатской смерти... сопело, скреблось, летело вперед и молчало». Он был одинок и в этой толпе, и «брат» узнает его по одиночеству: единственный из всех он протянул руку за листовкой, остальные наперыв хватали картошку, которую швырял им из вагона Лютов. Повествование в рассказе обращено к какому-то неведомому Василию, чье имя настойчиво, почти назойливо повторяется на двух страничках пять раз. В этой настойчивости — противопоставление: брат — чужой, которому, сколько ни толкуй, сколько ни окликай его по имени, все равно ничего не объяснить.

А рабби Моталэ Брацлавский, отец «красноармейца», — свой, хотя и не брат. И диалог его с Лютовым в рассказе «Рабби» — разговор людей, понимающих друг друга с полуслова. Радость, смех, веселье — вот чего ищет Лютов, добровольно извивающийся в корчах, крови и гное классо-

вой борьбы, но того же ищет и рабби с учениками, и старьевщик Гедали, и потому похвала Гедали хасидизму звучит с убедительностью авторского суждения. Напротив, полемика с Гедали (в одноименном рассказе), поборником «сладкой революции» и «Интернационала добрых людей», звучит совсем неубедительно. На «абстрактный гуманизм» старьевщика Лютов отвечает всего двумя предельно краткими аргументами: 1) [революция] «не может не стрелять, потому что она — революция»; 2) [Интернационал] «кушают с порохом и приправляют лучшей кровью». Но это аргумент-выстрел, аргумент-удар сапогом в лицо или под ребра! Однако главное опровержение Лютова — в другом: сразу за грозным напоминанием о порохе и крови следует приведенная выше жалобная просьба насчет еврейского коржика и еврейского стакана чаю. «Нету, — отвечает мне Гедали... — Нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней. Но там уже не кушают, там плачут...». Лютову некуда пойти. Старый мир, от которого он бежал, но который притягивает, не отпускает его, разрушен новым миром, к которому он рвется всей душой и который его не принимает и отпугивает своим уродством и кровожадностью. Одиночество и отчаяние интеллигента в революции — частая литературная коллизия 20-х годов — умножены на одиночество еврея, да к тому же еще еврея особого сорта, расколотого пополам в своем отношении к еврейству, как интеллигент расколот в своем отношении к революции. В результате по силе и напряженности трагического начала (неразрешимость конфликта) «Конармия» стоит едва ли не на первом месте среди книг о гражданской войне.

Острота конфликта усугубляется беспощадной, категорически неспособной лгать острою видения, которая кажется временами эстетски холодной: «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его за голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись» («Бере-

стечко»). Но сама острота видения, в свою очередь, обусловлена отстраненностью, отчужденностью, которые часто балансируют на грани активной враждебности. (А иначе жалость к «своим» — будь то по крови, будь то по борьбе — заволокла бы взор, и рисунок потерял бы в жесткости). В том же рассказе «Берестечко» еврейский быт выписан с неприязнью, отчетливо проступающей даже в лексике («теплая гниль старины», «удушливый тлен» хасидизма, «традиционное убожество этой архитектуры» и т.п.) и столь же отчетливо, нарочито подчеркнутой контрастом: «Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских...». Мерзость запустения разоренного панского гнезда не шокирует Лютова. Детали описания (нимфы с выколотыми глазами, обрывок письма столетней давности) звучат высокой элегией.

Но еще острее и беспощаднее бывает взор, обращенный на товарищей по борьбе. Тут к отчужденности интеллигента прибавляется национальная отчужденность — и Лютов отшатывается в ужасе. Он хочет восхищаться и благоговеть, и отсюда, от головного этого желания, и романтическая фантазмагория пейзажей, и влюбленные портреты героев (как портрет Савицкого, начдива шесть, в первом абзаце «Моего первого гуся»), но радужная пленка романтики рвется нередко, и тогда в разрывах видны «сырые пальцы» и «мясистое омерзительное лицо» другого героя, другого начдива шесть — Павличенки («Чесники»). Еще отчетливей ужас — в сказах. Между рассказчиком и Лютовым — пропасть непонимания и страха. Со страхом и недоумением всматривается интеллигент Лютов в дикую, дремучую подозрительность дикаря («Измена»), но намного страшнее еврею Лютову изуверская жестокость «гоев», затаптывающих врага насмерть («Жизнеописание Павличенки»), способных на убийство из-за мешка соли («Соль»), на сыноубийство и отцеубийство («Письмо»). Наверно было бы видеть в этом только моральное превосходство, тысячелетия библейского «не убий!» (об этом це-

лый рассказ — «После боя», в заключение которого Лютов «вымаливает у судьбы простейшее из умений — умение убить человека»), в этом и тысячелетия пассивного мученичества, забитости, запуганности гетто. Но как бы то ни было, сказы эти совсем другого типа, чем, допустим, у Лескова или Шолом Алейхема, где автор сочувственно прислушивается к душевным движениям рассказчика, они скорее — как страшные сказки о Змее-Горыныче. В конце «Письма», написанного под диктовку «мальчика нашей экспедиции Курдюкова», Лютов рассматривает семейную фотографию Курдюковых, и все они — горынычи, все — чудища: и будущий белый, «плечистый стражник Тимофей Курдюков... недвижимый, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз», и будущие красные, «чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых». Тут уже никакая экзотика, никакая романтика не спасают. И напротив, восточная экзотика еврейской старины («Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях») в сказообразной миниатюре «Кладбище в Козине» внушает сочувствие, даже умиление. В роли рассказчика здесь выступает сам Лютов, и голос его сливается с авторским.

Но это — не более, чем исключение. В целом, как уже было сказано, автор «Конармии» стоит над своим героем. Его двупозиционность не ведет к разладу и разброду. Несмотря на отстраненность, он все-таки свой в обеих стихиях: и в старой, и в новой, и в еврейской, и в советской. Он — не с Лютовым, которому надоели евреи Берестечка и который признается: «Я устал жить в нашей Конармии...» («Вечер»). Он поучает Лютова устами Гедали, но он же резко («с полной ясностью») обрывает его жалобы словами Галина: «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку» (там же).

Эта удивительная гармоничность в раздвоенности де-

лает «Конармию» уникальной книгой как в советской, так и в русско-еврейской литературе. Она — и самое лучшее, написанное Бабелем, и самое еврейское, несмотря на нееврейский сюжет, потому что главный ее герой — еврейская неприкаянность и тоска, перед которою засветилась надежда избыть самое себя в великом общем деле. Что надежда несбыточна, что общее дело, «приправленное лучшей кровью», обернется бездонной кровавою топью, Бабель не знал, и упрекать его в этом нелепо.

Чисто же еврейские сюжетно вещи Бабеля оказываются, в известном смысле, менее еврейскими, как раз потому, что и двойственность позиции, и ее уверенная уравновешенность в них, по сравнению с «Конармией», ослаблена, а то и вовсе отсутствует, как в раннем (1918 год) рассказе «Шабос-нахаму». (Это довольно бледный пересказ нескольких анекдотов или, скорее, устных новелл о Гершеле Острополере, еврейском варианте известного почти в каждом фольклоре героя-плута. Бабель, однако, придавал своему первому и не нашедшему — несмотря на подзаголовок «Из цикла «Гершеле» — продолжения опыту особое значение, потому что в «Конармии» Лютов на вопрос рабби Моталэ: «Чем занимается еврей?» — отвечает: «Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя»).

«Одесские рассказы» писались, скорее всего, в одно время с «Конармией». Но не только тема в них иная, в них иной рассказчик и иная связь между рассказчиком и материалом повествования. Бабель рассказывает о гангстерской еврейской Одессе больше от первого лица, а однажды передает слово синагогальному служке Арье-Лейбу, который отзывается о рассказчике довольно презрительно («...на носу у вас очки, а в душе осень»). Однако и поэтика, и интонация, и эмоциональный фон всех четырех рассказов одинаковы. Рассказчик так же влюблен в жирную, сочную, мясистую, полнокровную и экспансивную Одессу налетчиков, богачей и кладбищенских нищих, как сам Арье-Лейб. Арье-Лейб говорит о богаче по прозвищу «Полтора жида»: «У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила» («Как это делалось в Одес-

се»). То же самое — с необходимыми поправками — мог бы сказать Бабель обо всей старой еврейской Одессе и старая Одесса — о нем. Свой среди своих, от тяги прочь, от раздвоенности остаются лишь условные очки на носу, противопологаемые орлиной зоркости биндюжников, воров и Тартаковского.

Я вовсе не хочу как бы то ни было принизить достоинства «Одесских рассказов». Я хочу подчеркнуть только одно: несмотря на ошеломительные стилистические находки и новации, несмотря на ностальгию по недавнему, но уже невозвратному прошлому, несмотря на совершенно нового и неожиданного для русско-еврейской литературы героя-бандита, «Одесские рассказы» продолжают (и, пожалуй, завершают) бытописательскую традицию этой литературы дореволюционного периода, тогда как «Конармия» открывает новый период и закладывает новую традицию.

Четыре новеллы автобиографического цикла младше «Конармии» и «Одесских рассказов»; две из них автор датирует 1925 и две 1930 годом. Эти грустные еврейские новеллы о грустном еврейском детстве, с погромами, с нищетой, с сумасшедшей родней (как уже упоминалось, печальные события и детали вымышлены не меньше, чем наполовину), не отличались бы в принципе, жанрово от обильных в русско-еврейской литературе детских и юношеских воспоминаний, если бы не то, что рассказчик смотрит на минувшее из другого, уже совсем нееврейского мира. Он не порвал с этим миром демонстративно и шумно, он просто вышел, выскользнул из него (на сей раз — действительно в некое «никуда») и смотрит назад со смесью ностальгии и страха, как большинство детей, которые стали взрослыми. Еврейство здесь — не тема, а фон, на котором разыгрываются трагедии ребяческой жизни: трагедии любви, обмана, унижения. Разумеется, все они сильно обусловлены фоном, тем более, что в первых двух новеллах («История моей голубятни» и «Первая любовь») это погром, но сами трагедии универсальны, не связаны ни местом, ни временем, ни родом-племенем. А ядро, ось новеллы — именно в них, в универсальных трагедиях, и, быть может, поэтому

рассказчик, сосредоточившись на своих давних страданиях, выписывает их с бабелевской напряженностью и пронзительностью, погром же, убитого деда Шойла, казаков и их лошадей, самих погромщиков, наконец, разглядывает взором ясным, невозмутимым и даже любующимся иногда. В этом контрасте — не только особая сила автобиографических новелл Бабеля, но важнейшее для еврейских литератур новейшего времени жанровое новшество.

Первая пьеса Бабеля, «Закат», играет исключительную роль во всей его литературной судьбе. Написанная в 1926 году, исправлявшаяся и доделывавшаяся в 1927, она вышла на сцену и в печать в канун «великого перелома». И общая атмосфера, и персонажи, и даже фабула предвосхищены «Одесскими рассказами». Но уже сама по себе перемена литературного рода — с эпического на драматический — производит переворот. Исчезает влюбленный в свой материал рассказчик, и то, что звучало анекдотом, смачной городской новеллой, «хохмой», приобретает жуткую жизненную серьезность, становится трагедией. Достаточно припомнить сюжетный зародыш «Заката» в рассказе «Отец»: «В [винном] погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Бенья и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина».

Но еврейскую тему нельзя считать неоспоримой собственностью еврейской литературы: назовем хотя бы такие общеизвестные примеры, как «Уриэль Акоста» Гуцкова и «Евреи» Чирикова. Вершиной русско-еврейской драматургии эту извечную трагедию конфликта поколений делает не столько доскональное знание и совершенное чувство

среды, сколько извечно еврейский угол зрения, еврейская мудрость двухтысячелетней давности. Итог событиям подводит старик Бен Зхарья, «раввин на Молдаванке», шут и балагур, «хулиган и умница»: «День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но Бог имеет городских на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!». Что такое эти прекрасные и грозные иносказания, «крадущиеся издалека к цели, не всем видимой», как сказал бы сам Бабель («Конец богадельни»), что такое это высокое и надрывающее сердце примирение с неизбежным, как не вариация на непреходящую горечь и мудрость Экклесиаста: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать насаженное...» («Книга Экклесиаста», 3,1 сл.). Все в порядке, потому что «род приходит, и род уходит, а земля пребывает во веки» (там же, 1,4) — и рыдания Арье-Лейба над «иссеченным и запудренным» лицом Менделя есть доподлинный, в самом классическом, аристотелевском смысле катарсис. И когда он «плачет и смеется», вытирая слезы платком, который протянул ему Мендель, — это не истерика, а катарсис, обретение душевного равновесия и бодрости духа через созерцание чужой муки. Все в порядке, жизнь продолжается.

Но пьеса названа «Закат» недаром. Она — об уходящем, не о грядущем, о разрушении, о смерти. И емкий символ заката вмещает гораздо больше, чем крушение былого величия и запоздалых надежд биндюжника Менделя Крика, больше даже, чем упадок старой Одессы. Рушится весь старый уклад, прахом рассыпаются самые его устои. Как ни сомнителен Мендель Крик в роли патриарха, но он отец, а мы знаем, что такое отец в еврейской традиции и. в

частности, а пожалуй, и в особенности, для Бабеля. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» («Исход», 20, 12). «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (там же, 21, 17). «Перед лицом седого встань...» (Левит», 19, 32). А лицо старика отца разбито и рассечено свинцовыми кулаками сыновей.

«Восходит солнце, и заходит солнце...» («Экклесиаст», 1,5). Каким будет восходящее солнце, какой мир оно осветит, Бабель еще не знал, трудясь над «Закатом». Но натяжкой было бы утверждать, что он плакал вместе с Арье-Лейбом над закатом еврейской старины, хотя и был привязан к ней не только душевно, но прямо-таки физиологически — пуповинным шнуром. И еще большею натяжкой было бы видеть в молодых бандитах Бенчике и Левке карикатурную аллегория новых, революционных порядков. Однако едва ли можно сомневаться, что скорбь и тревога решительно преобладают в «Закате» над «пузырящейся жовиальностью» («Ученье о тачанке») «Одесских рассказов».

«Закат» оказался началом и бабелевского заката. «Великий перелом» переломил хребет и ему. Будут еще взлеты, и высокие, но уверенного, последовательного подъема больше не будет. В числе главных причин — уход с российской сцены еврейства, не Менделя Крика, а всего того еврейства, которое было Бабелю родным. Ассимиляция не шла, а летела, неслась сломя голову. К новым же формам еврейской жизни, допускаясь и поощряясь властями в конце 20-х и в 30-е годы, Бабель остался, по-видимому, равнодушен. О Биробиджане, сколько я знаю, он не говорит нигде. В 1931 году Общество землеустройства евреев-трудящихся хотело показать ему новые еврейские сельскохозяйственные поселения на Украине. Он упоминает об этом мельком, без всякого интереса, не сообщая, воспользовался ли, в конечном счете, этим приглашением или нет (LY, pp. 161, 164; 19.6.1931, 15.8.1931). Идишистская культура его по-настоящему не привлекала и не занимала, несмотря на любовь к Шолом Алейхему, связи с еврейским театром и дружбу с Михоэлсом

(*ibid.*, pp. 279, 369; 31.3.1935, 2.12.1938), добрые отношения с некоторыми еврейскими писателями. Русско-еврейский писатель потерял почву под ногами.

И взлеты его в последнее десятилетие, главным образом, сопряжены с еврейской темой или лютовским мировосприятием: две последних новеллы автобиографического цикла (1930), превосходный рассказ «Дорога» (1932), чисто лютовский. Лютовским духом пронизан и бабелевский шедевр «Гюи де Мопассан», опубликованный в 1932 году, но по авторской датировке относящийся к 1920-1922 гг. Я решился бы отнести сюда же еще один замечательный рассказ, «Улица Данте» (1934), потому что эмоциональный ключ его — важнейший компонент рассказа — это безысходное одиночество («Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже»). К «Одесским рассказам» примыкают «Конец богадельни» (авторская датировка: 1920-1929, опубликован в 1932 году, с подзаголовком «Из Одесских рассказов») и «Фроим Грач» (предложен к напечатанию в 1933 году, опубликован посмертно). Правда, второй из них «взлетом» не назовешь, но их объединяет друг с другом (и отъединяет от «Одесских рассказов») мотив ухода, гибели и сожаления об ушедшем, особенно, вызывающе острого во «Фроиме Граче».

В 1935 году Бабель сообщает: Я хотел бы поведать миру все, что знаю о старой Одессе, после чего смогу перейти к Одессе новой (LY, p. 270; 7.1.1935). На самом деле попытку такого перехода он предпринял уже раньше, в 1931 году, напечатав рассказ «Карл-Янкель». Но попытка была неудачной, и сам Бабель это понимал. В письме от 2.2.1932 он изумляется, что критика уделяет внимание такой чуши, прямо называет рассказ плохим (*ibid.*, p. 202). Новая Одесса не дается писателю, потому что она не мила ему. Скандал вокруг обрезания новорожденного Карла-Янкеля — дутый не сам по себе, он дутый и фальшивый для Бабеля, писатель насилует себя, но фальши скрыть не может. Фальшь — и в Овсее Белоцерковском, заготавливающим жмых при содействии Балтского и Тираспольского укомов партии (он похож на положительного еврея у Эренбурга кашерно-советского периода.

на какого-нибудь Осипа Альпера из «Бури»), и в кормлении младенца киргизкою, слащавой картинке из серии «нерушимая дружба народов СССР», и в пафосе заключительных восклицаний рассказчика. Зато нет фальши, хотя есть грубый гротеск, в «малом операторе» Нафтуле Герчике; посвященные ему полторы страницы — истинный Бабель лучших своих времен.

Все 30-е годы Бабель ищет новый стиль. Жалобами на мучительные трудности поиска полна и переписка, и публичные выступления. Не только новых форм выразительности искал он, но, прежде всего, иной атмосферы, иной среды, новой почвы под ногами. Однако за пределами русско-еврейской литературы удача не баловала его, хотя он и прекрасно знал свою страну, Советский Союз, и любил его преданно, горячо, и сам был любим, окружен друзьями повсюду, не только в Одессе, но и в подмосковной деревне, донской станице, в Донбассе, в Кабардино-Балкарии... Как уже сказано было не однажды, причины на то разные, и каждая достаточно серьезна, но, по-видимому, очень тяжело сказалась потеря двойственной позиции, двойственного видения. Его нет и не может быть, когда глядишь на совсем чужое, например, на высшую аристократию (пьеса «Мария»), даже если капризом революции в среду ее затесался еврей-спекулянт. Кстати, Горький, которому «Мария» справедливо не понравилась, писал Бабелю: «...Особенно не нравится мне Дымшиц... Вы поставили его в позицию слишком приятную для юдофобов» («Литературное наследство», том 70, Издательство АН СССР, Москва, 1969, стр. 44). Я полагаю, что Бабелю подобные опасения и в голову не приходили. Еврейнегодяй написан еврейским писателем с той же естественностью и безоглядностью, с какой русский писатель пишет русского негодая: ни того, ни другого не тревожит, что могут сказать по этому поводу юдофобы или русофобы... С другой стороны, нет двойного видения и тогда, когда глядишь на созданное твоими же руками. В двух отрывках из несохранившегося романа о коллективизации («Колывушка» и «Гапа Гужва») Бабель правдив, т.е. верен себе, но отстраниться от материала, отступить в сторону и

не способен, и не имеет права — и изображение теряет в резкости, выпуклости, глубине, пронзительности.

Бабель — важнейшая фигура в русско-еврейской литературе советского времени, модель еврейского писателя в советской русскоязычной культуре. Вся возрождающаяся и рождающаяся наново после Сталина русско-еврейская литература ориентируется и равняется на него. Подражать ему невероятно трудно, повторить его невозможно, как неповторима его участь, неповторимы и невозвратимы старая Одесса и российское еврейство начала века. Но можно сопоставлять, примерять, учиться. Едва ли кого сегодня соблазняет вторая точка стояния Бабеля — русская революция. Но в чувствах его и взглядах прощупывается возможность еще одного «раздвоения», гораздо более соблазнительного. Речь идет примерно вот о каких противопоставлениях: замкнутость, жесткость, стесненность, гипертрофированный рационализм — открытость, раскованность, полнота чувства, радость существования. Об этом — ночной разговор в спальне стариков Криков («Закат», вторая сцена), когда Нехама грызет мужа: «У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?..» — а Мендель рычит в ответ: «Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...». В этом — корень худо скрываемого восхищения и налетчиками, и буйным, вредным чудачком Симон-Вольфом, и дедом Лейви-Ицхоком, бывшим раввином, потерявшим место за подделку векселей, «посмешим город и украшением его» («В подвале», «Пробуждение»). В этом — и смысл концовки «Истории одной лошади», знаменитого абзаца, ставшего крылатым: «Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером... Нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Не отринуть традицию, не отвернуться от собственной истории. Не погрязнуть ни в приобретениях диаспоры, ни в ее мусоре, в кафтанах и шляпах, надменной хилости тела

и казуистике многослойных комментариев. Но вырваться на волю, на простор, сорваться с цепи, узнать вкус, цвет, запах, упругость всего, чего нас лишили стены гетто, черта оседлости и та невидимая черта, которую обвели себя мы сами и в которой задыхаемся столетье за столетьем. И найти гармонию в раздвоенности.

У Бабеля это не написано, это только намечено. Но мысль об этой парадоксальной гармонии, которая, заметим сразу, отнюдь не однозначна тиши, глади и божьей благодати, приходит постоянно, когда смотришь на старую кибуцианскую гвардию, халуцев 30-х годов. Она приходит все чаще еще и тогда, когда думаешь о евреях молчания, ставших евреями мужества.

עיריית חיפה
 משרד התרבות והנוער
 תיבת הדואר 1000
 בית המשפט - ספרייה
 מס. מלאי.....

800

КОММЕНТАРИИ

Места, подвергавшиеся в переизданиях авторской правке или цензурным изменениям и купюрам, отмечены в тексте звездочками.

Библиографическая справка и предметный комментарий к каждому рассказу даны под соответствующими номерами.

АВТОБИОГРАФИЯ (стр. 7)

Настоящая редакция печатается впервые по автографу 1932 года, хранящемуся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ; ф. 1559, оп.1, ед.хр.3, л.3). Ранний вариант автобиографии, 1924, публиковался неоднократно.

¹ *Молдаванка* — район Одессы, где до революции жили в бедности и тяжелых условиях многие евреи, известен как прибежище уголовников и гангстеров. После возвращения семьи из Николаева Бабель жил не на Молдаванке, а на Ришельевской улице (ныне ул. Ленина). Тем не менее Молдаванка оставалась для Бабеля предметом постоянного интереса.

² *Талмуд* — обширный цикл религиозной литературы, заверченный к V в. н.э. и регламентирующий религиозно-правовые нормы иудаизма, содержит толкование и обсуждение Закона, устные предания, научные сведения и т.д. Предмет религиозного еврейского образования на его высшей ступени.

То, что Бабель учился в детстве ивриту, подтверждается тем, что он авторизовал перевод своих рассказов на иврит (сб. «Берешит», №1, М.—Л., 1926, стр. 15—38).

³ В раннем варианте автобиографии (1924) далее следует: «Я писал их два года, но потом бросил: пейзажи и вся-

кие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне».

⁴ С 1916 г. Бабель снимал комнату у инженера Л.И. Слонима и его жены А.Г. Слоним, с которыми он впоследствии находился в многолетней переписке (см. ж. «Знамя», 1964, № 8).

⁵ *А.А. Измайлов* (1873—1921) — редактор и ученый; *В.А. Поссе* — бывший редактор ж. «Жизнь».

⁶ По обвинению в порнографии.

⁷ Одна часть горьковской автобиографической трилогии называется «В людях». Встреча с Горьким и история опубликования рассказов в «Летописи» подробнее описана Бабелем в очерке «Начало» (впервые опубликован в «Литературной газете» от 18. 6. 1937 г.; см. также: «Избранное», М., 1966, стр. 315—316).

⁸ *На румынском фронте* Бабель служил с октября 1917 г., но вскоре заболел. *Чека* (ЧК) — Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем; с 1922 г. — ГПУ (см. рассказ «Дорога» в настоящем сборнике). Бабель предполагал написать повесть о ЧК. *Наркомпрос* — Народный Комиссариат Просвещения. *В продовольственных экспедициях 1918 г.* — об одной из таких экспедиций Бабель пишет в рассказе «Иван-да-Марья» (ж. «30 дней», 1932, № 4, см. также «Избранное», Кемерово, 1966). *Юденич* — белогвардейский генерал, пытавшийся в 1919 г. захватить Петроград. *В 1-й Конной Армии* Буденного Бабель служил в 1920 г. во время польского похода военным корреспондентом, сотрудником печатного органа Политотдела «Красный кавалерист», участвовал в боях (см. ниже комментарии к «Конармии»). *В Петербурге* Бабель сотрудничал в антибольшевистской газете Горького «Новая жизнь», опубликовал в ней в 1918 г. ряд очерков (под общим заголовком «Дневник» и под псевдонимом «Баб-Эль»), в которых описал, между прочим, царящие в революционном Петрограде разруху, произвол, жестокости; печатался также в газетах «Журнал журналов», «Вечерняя звезда», «Жизнь искусства» и др. *В Тифлисе* (ныне Тбилиси) Бабель напечатал в 1922 г. под своим конармейским псевдонимом «Лютов» ряд очерков о переменах в

жизни советской Абхазии и Аджарии в газете «Заря Востока».

⁹ «Левф» — журнал «Левого фронта искусств», его редактором был В. Маяковский. На самом деле перечисленные здесь рассказы, как и многие другие, были написаны и первоначально опубликованы в одесской печати еще в 1921—1923 гг.

¹⁰ *За два года...новой работы.* Этой концовки нет в раннем варианте автобиографии. В 30-х гг. Бабель работал над циклами рассказов о коллективизации, о Кабардино-Балкарии, над повестью «Коля Топуз» и др. Однако до 1939 г. (года его ареста) ничего из этого опубликовано не было.

Первый раздел

РАННИЕ РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ ШЛОЙМЕ (стр. 11)

Впервые: ж. «Огни», Киев, от 9.2.1913 г., № 6. Печатается по тексту журнала. Этот первый известный нам рассказ Бабеля оставался забытым до его публикации в одесском журнале «Горизонт» (апрель 1967 г., стр. 68—71). Еще раз «открыли» его в американском журнале «Russian Literature Triquarterly», № 13 (осень 1975 г., стр. 596—598).

В возрасте 15—16 лет Бабель принимал участие в работе еврейской организации, оказывавшей помощь нищим и бедным Одессы, интересовался «еврейским вопросом». В Киеве сблизился с еврейской ассимилированной интеллигенцией. Там он встретил свою первую жену Е.Б.Гронфейн.

Статьи по еврейскому вопросу публиковались в журнале «Огни» систематически.

ИЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА (стр. 15)

Впервые: ж. «Летопись», Петроград, ноябрь 1916, № 11 (вместе с рассказом «Мама, Римма и Алла»). Перепечатано в ж. «Знамя», 1964, № 8, в сборниках «Избранное» (М., 1966 и Кемерово, 1966). В оглавлении журнала и в тексте — «Элья Исаакович», в заглавии — «Илья Исаакович». Это один из тех рассказов, которые Бабель «разносил по издательствам» (см. «Автобиографию»). О своих рассказах этой поры Бабель писал впоследствии в очерке «Начало»: «Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда».

К теме проституции Бабель возвращался не раз. В петроградском «Журнале журналов», 1917, № 16, появился ранний вариант рассказа «В щелочку» («Силуэты», Одесса, 1923, № 12, стр. 5). В.Шкловский писал, что Бабель думал о рассказе про двух китайцев в публичном доме (см. «Ходя», «Силуэты», Одесса, 1923, № 6, стр. 5). См. также рассказ «Мой первый гонорар» (1922—1928) и его вариант «Справка», «Избранное», Кемерово, 1966.

¹ *Нивроко* — не сглазить бы (идиш; из укр. нівроку).

ШАБОС-НАХАМУ (стр. 19)

Впервые: социал-демократическая петроградская газета «Вечерняя звезда» от 16. 3. 1918. При жизни Бабеля более не печатался. Опубликован в ж. «Знамя», 1964, № 8, в сборниках «Избранное» (М., 1966 и Кемерово, 1966).

Бабель использовал рассказ из еврейской литературы на

идиш «Ди майсэ мит Шабос Нахаму» — один из многих рассказов и анекдотов о жившем в 18 веке шутнике и балагуре Гершеле из Острополя, прославившемся своими остроумными проделками и насмешками над невеждами и богачами. Подзаголовок свидетельствует о замысле Бабеля создать цикл рассказов о Гершеле. В рассказе «Рабби» из «Конармии» рассказчик говорит житомирскому ребе, что он «перекладывает в стихи похождения Гершеле из Острополя». Бабель также вспоминает Гершеле, глядя на лица молящихся в синагоге в Дубне: «...думаю о Гершеле, вот как бы описать» (запись в дневнике от 23. 7. 1920).

¹ *Шабос-нахаму* (шаббат-нахаму) — первая суббота после девятого числа месяца ава («тиша беав») — дня траура и поста в память разрушения Иерусалима, Первого и Второго храмов. В эту субботу в синагогах читают строки пророка Исаяи: «Нахаму́, нахаму́ амй...» (Утешайте, утешайте мой народ).

² *Было утро...день шестой.* — Измененная цитата из библейской книги Бытия (Берешит) — из описания сотворения мира.

³ *Острополь, Бердичев, Вилюйск* — города в черте оседлости в России с преобладающим еврейским населением.

⁴ *Рабби Борухл* — Барух бен Иехизель Тульчинер, внук основателя хасидизма Баал-Шем-Тов (см. примечания к рассказам «Любка Казак» и «Карл-Янкель»), меджибожский ребе, у которого Гершеле служил придворным шутом.

Ребе (или цадик) — духовный руководитель у хасидов, его приверженцы приписывали ему способность общаться с Богом, творить чудеса, пророчествовать.

⁵ У еврейского царя Соломона (Шломо) было семьсот жен и триста наложниц.

⁶ *Латка (латкес)* — оладьи из картофеля (идиш).

⁷ *Талес* — шерстяное или шелковое покрывало, которое евреи надевают поверх одежды во время утренней молитвы.

Второй раздел

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

Этот раздел состоит из так называемых «автобиографических» рассказов Бабеля. Замысел цикла рассказов о детстве возник у писателя очень рано, о чем свидетельствует рассказ «Детство. У бабушки», написанный в 1915 г. В этот цикл входят рассказы «История моей голубятни» и «Первая любовь», которые первоначально составляли две части одной повести (см. примечания к этим рассказам). Название первого из них послужило затем названием сборника (1926, 1927, 1930). В этот цикл рассказов о детстве органически входят «В подвале» и «Пробуждение», которые публиковались с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни», а также рассказ «Ди Грассо». Включение в этот раздел рассказов «Гюи де Мопассан» и «Дорога» оправдано наличием в них примет автобиографичности.

Несмотря на то, что многое в рассказах о детстве связано с детством самого автора, они не являются автобиографическими в полном смысле этого слова. Так, по словам старшей дочери Бабеля, семья не была нищей, хотя и не была зажиточной, и не пострадала от погрома (см. предисловие Натальи Бабель к собранию произведений отца, Нью-Йорк, 1964). См. также замечание в письме Бабеля к матери от 14. 10. 1931 г. о том, что хотя сюжеты этих рассказов взяты из его собственного детства, в них «привратно, конечно, многое и переменено — когда книжка будет окончена — тогда станет ясно, для чего мне все это было нужно» («Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963).

Рассказы этого цикла печатаются по первым публикациям.

ДЕТСТВО. У БАБУШКИ (стр. 29)

При жизни автора не печатался. Впервые: сб. «Литературное наследство», т. 74, 1965, стр. 483—488, по автографу, хранящемуся у вдовы писателя А.Н. Пирожковой. В

последующих сборниках «Избранное» (1966) также не публиковался. Рассказ датирован автором: «Саратов. 12.11.1915». В это время Бабель жил в Саратове, так как Киевский институт, в котором он учился, перевели туда в начале Первой мировой войны.

В квадратных скобках — неясные места и сокращения в тексте.

¹ Здесь фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ (стр. 36)

Впервые: ж. «Красная новь» (1925, № 4), с подстрочным примечанием: «Данный рассказ является началом автобиографической повести». По замыслу Бабеля, повесть должна была публиковаться в журнале полностью, однако вторая ее часть была напечатана в том же году в альманахе «Красная новь» как отдельный рассказ под названием «Первая любовь». По этому поводу Бабель писал Горькому, которому посвящалась повесть, о своем огорчении, что «вышла глупая такая история» (письмо от 25. 6. 1925 г., «Литературное наследство», т. 70, М., 1963, стр. 39—40; перепечатано в сб. «Избранное», М., 1966, стр. 431—432).

Горький откликнулся на посвящение ему «Истории моей голубятни» в письме к редактору «Красной нови» А.К. Воронскому от 18. 6. 1925 г.: «С Вами Бабель? Пожмите ему руку, я очень благодарю его за посвящение мне «Голубятни», растет этот человек и все лучше пишет. Ему следует отнестись к языку еще строже. Я писал ему, но не уверен, что он получил мое письмо» («Архив А.М. Горького», т. X, кн. 2, М., 1965, стр. 20—21; см. также: «Избранное», М., 1966, стр. 481).

В дальнейшем «История моей голубятни» и «Первая любовь» продолжали печататься как самостоятельные, хотя и сюжетно связанные рассказы.

Переиздавался в книге «История моей голубятни» (изд. «Земля и фабрика», М.—Л., 1926, 1927), в ж. «Версты» (Париж, 1926, № 1) и в книге «История моей голубятни» (Па-

риж, 1927). Рассказ также включался в сборники советской литературы против антисемитизма «Неодоленный враг» (сост. В. Вешнев, М., 1930) и «Против антисемитизма» (ред. Г. Алексеев, Л., 1930). В поздних изданиях — с значительными стилистическими правками, наиболее существенные из которых отмечены нами ниже.

Стр. 36. *Теперь...как ужасно я их боялся.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 37. *...к отчаянию.* — В поздних изданиях: *в отчаяние.*

Небольшой наш город...лучше отца. — В поздних изданиях отсутствует.

...как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, не противная бородавка сидела... — в поздних изданиях: *как у крестьянских ребят, сидела бородавка...*

Стр. 38. *...визга, захлебывания...* — эти слова в поздних изданиях исключены.

...загнанных моих снов. — В поздних изданиях исключено *загнанных.*

...тогда гимназистикам... — в поздних изданиях: *гимназистам.*

Стр. 40. *...древняя наша семья ...на земле.* — В поздних изданиях: *семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле.*

...не боясь ...не любит... — в поздних изданиях отсутствует.

Стр. 41. *...несгибаемый наш народ...* — в поздних изданиях: *народ наш.*

...мать напилась пьяна... — в поздних изданиях: *мать пригубила вина.*

...когда она стала...и когда она ходила... — в поздних изданиях: *когда по утрам до ухода в гимназию она стала готовить для меня бутерброды, когда мы ходили...*

Стр. 42. *...над вещами, пахнувшими...новых вещей...* — в поздних изданиях: *над новыми вещами.*

...незабываемому сумраку... — в поздних изданиях опущено *незабываемому.*

...но внезапные беды преградили мне путь. — В поздних изданиях: *Но на пути стали неожиданные препятствия.*

Стр. 44. *Я смотрел...в цветное тряпье.* — В поздних изданиях отсутствует.

...опрокинувшийся... — в поздних изданиях *опрокинувшийся в моих глазах.*

...прекрасным... — в поздних изданиях: *красивым.*

Стр. 45. *Но парень... мешкать.* — В поздних изданиях фраза отсутствует.

...как неотвратимое эхо... — в поздних изданиях отсутствует.

...сжатой ладонью...моем виске. — В поздних изданиях: *ладонью, сжимавшей птицу.*

Стр. 46. *...на хромой и бодрой...* — в поздних изданиях: *на большой.*

Стр. 47. *...на трупе...мертвеца.* — В поздних изданиях: *и убирал мертвого Шойла.*

¹ *Ешибот* (*иешива* — иврит) — еврейская высшая духовная школа. Литовский городок Воложин прославился своей иешивой, которая привлекала к себе учеников из многих стран до закрытия ее в 1892 г.

² *Лос-Анжелос* (Лос-Анджелес) — крупнейший город в американском штате Калифорния. Известен также как международный центр торговцев, картежников и аферистов.

³ *Талес* — молитвенное покрывало.

⁴ См. «*Детство. У бабушки*» — рассказ бабушки о восстании поляков и расстреле графа.

⁵ *Хасидские песни* — своеобразное хасидское пение, часто без слов. Бабель, участвуя в польской кампании в 1920 г., не раз бывал у хасидов «в их шумных синагогах» (см. его записи в конармейском дневнике).

⁶ *Старый Либерман* — учитель иврита; в рассказе «*Детство. У бабушки*» — г-н Л.

⁷ *Традиционные шнурки* — кисти (на иврите — *цицит*), прикрепленные к четырем углам талес-котн (малый талес), который религиозные евреи носят под верхней одеждой.

⁸ Пастух Давид, впоследствии царь Израиля и Иудей, победил в единоборстве филистимлянина, великана Голиафа.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (стр. 49)

Впервые: альманах «Красная новь» (1925, № 1) с пометкой редактора: См. «Красная новь», № 4: «История моей голубятни» (см. примечания к рассказу «История моей голубятни»). Перепечатан в кн. «История моей голубятни» (М.-Л., 1926, 1927; Париж, 1927).

Стр. 49. *В ликующих ее глазах я видел...* — в поздних изданиях: *Я видел в них...*

Стр. 50. *Они причиняли мне страданья... таинственное, возвышенной, горячей.* — В поздних изданиях исключено: *Необузданные вымыслы терзали меня и конец фразы, начинающая со слов ...только у детей...*

Стр. 51. *Бабель...* — в поздних изданиях: *Так...*

Стр. 52. *...и к толстой, терпеливой, волосатой морде.* — В поздних изданиях отсутствует.

...и задрожал от любви ко мне. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 53. *...разрумяненная зимним безжалостным весельем, как богатая девушка на катке.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 55. *Лицо отца...в беду.* — В поздних изданиях отсутствует.

Околевающие его глаза окружились слезами. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 56. *...перекатывавшимся в зеленой моей блевотине...* — в поздних изданиях отсутствует.

...потерпи, мой бедный Бабель... — в поздних изданиях отсутствует.

Я метался... шедшей из сердца. — В поздних изданиях отсутствует.

— *Болезнь эта,* — сказал он, — *...странную такую болезнь.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 57. *И теперь...моего увядания.* — В более поздних изданиях отсутствует.

¹ *Чикчиры* (в оригинале *чекчиры*) — узкие кавалерийские брюки.

² *Шамес* — синагогальный служка. По еврейским традициям над покойником всю ночь читают псалмы.

В ПОДВАЛЕ (стр. 58)

Впервые: ж. «Новый мир» (1931, № 10), с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни»; датировано автором: 1929.

Стр. 65. ...он кричал то же, что и всегда: — в поздних изданиях отсутствует.

— *Вы тянете из меня клей, — ...камень висит на моей шее...* — в поздних изданиях после *ваши рты* добавлено: *Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног...*

Стр. 66. *Мною овладели решимость и спокойствие.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 67. *Я отдавал ей их.* — В поздних изданиях отсутствует.

¹ *Барух Спиноза* (1632—1677) — великий философ, из семьи марранов (евреи, крестившиеся из страха перед инквизицией, но тайно сохранявшие верность иудаизму), бежавших из Португалии в Амстердам. *Синедрион* — совет старейшин, верховное политическое, религиозное и судебное учреждение в древнем Иерусалиме; здесь — о руководителях еврейской общины в Амстердаме, подвергших Спинозу, за его религиозное вольнодумство, отлучению (*херем*). *Рубенс* (1577—1640) — знаменитый художник фламандской школы.

² В рассказе «Конец богадельни» Бабель называет Одессу «русским Марселем». Своеобразный облик и быт Одессы красочно описан им в очерке «Одесса» («Журнал журналов», 1916, № 51; см. также в сборнике, вышедшем в Англии, изд. Брадде, 1965).

³ Одесский морской курорт.

⁴ «Манчестер Гардиан» — известная английская газета.

⁵ *Рош-гашоно* (*Рош-Хашана*) — новый год у евреев; *Судный день* (*Йом-Кипур*) — день поста, который наступает

через 10 дней после нового года, день молитвы и покаяния.

⁶ *Брис (брит)* — обряд обрезания.

⁷ См. примечание к «Автобиографии».

⁸ Герой читает монолог Антония из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

ПРОБУЖДЕНИЕ (стр. 68)

Впервые: ж. «Молодая гвардия», 1931, № 17—18, сентябрь, с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Датировано в поздних изданиях: 1930 г.

Стр. 72. ...*среди последних выжимок племени, не умеющего умереть...* — в поздних изданиях отсутствует.

...*трагедию моего сочинения.* — В поздних изданиях: *написанную мною накануне трагедию.*

Стр. 74. *Спасения не было.* — В поздних изданиях отсутствует.

¹ *Миша Эльман* (1891—1967), *Ефрем Цимбалист* (род. 1889 г.), *Яша Хейфец* (род. 1901 г.) — знаменитые скрипачи, *О. Габрилович* (1878—1931) — известный пианист и дирижер. Евреи, выходцы из Одессы или учившиеся там. Впоследствии все они переселились в США.

² *Загурский* — в действительности П.С.Столярский (1871—1944) — известный педагог, учивший Бабеля музыке. Впоследствии учил Давида Ойстраха и многих других выдающихся скрипачей (см. письма Бабеля от 23 марта и 9 октября 1935 г. — «*Racconti proibiti e lettere intime*», Милан, 1961, стр. 244, 255). *Л. Ауэр* — скрипач и крупнейший педагог, крещеный еврей из Венгрии, очень долгое время — профессор Петербургской консерватории.

³ *Мистер Троттибэрн* в рассказе «Любка Казак» упоминается как старший механик на «Плутархе».

⁴ «Дженерал Моторс» — известная американская фирма, производящая автомобили.

⁵ *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — итальянский скульптор, чеканщик и ювелир; он описал свои удивительные приключения в автобиографии.

⁶ *Гемара* — часть Талмуда; здесь, как это часто встречается в обиходе, — то же, что Талмуд (см. примечание к «Автобиографии»).

⁷ *Кадетский корпус* — закрытое привилегированное учебное заведение для подготовки дворянских детей к офицерской службе в царской армии. Ясно, что герой рассказа Бабея не мог учиться в кадетском корпусе.

ДИ ГРАССО (стр. 76)

Впервые: ж. «Огонек», 1937, № 23/604.

¹ *Джузеппе Ансельми, Титта Руффо* — знаменитые итальянские оперные певцы, гастролировавшие в России; *Федор Шаляпин* — знаменитый русский певец; *ди Граcco* — трагик из Сицилии, гастролировавший в России, упоминается в записях Бабея, которые он вел в детстве.

² *С. И. Уточкин* (1876—1916) — прославившийся своей храбростью русский летчик, одессит.

ГЮИ ДЕ МОПАСАН (стр. 81)

Впервые: ж. «30 дней», 1932, № 6. На обсуждении рассказа в журнале «Смена» (1932, № 17—18) Бабель назвал дату написания рассказа — 1920—1922 гг. Близость Бабея к французскому писателю не раз отмечалась в критике; сам Бабель говорил о своей любви к Мопассану и французской литературе. В очерке «Одесса» («Журнал журналов», 1916, № 51) он пишет о «нужном нам, нашем национальном Мопассане», которого, по его мнению, может взрастить «русский юг», «русская Одесса». В двадцатых годах Бабель перевел три новеллы Мопассана, в том числе «Признание» («L'aveu»), о которой идет речь в рассказе, для вышедшего под его редакцией собрания сочинений Г. де Мопассана в трех томах (М.—Л., 1926—1927).

Стр. 88. ...и поедал свои испражнения. — Изъято в изданиях, вышедших после смерти Бабея.

¹ Прототипом Алексея Казанцева считают товарища Бабеля по работе в газете «Новая жизнь» в 1918 г. Кудрявцева, который тоже интересовался испанской литературой и собирал издания «Дон Кихота» (см. письмо Бабеля Горькому от 25. 6. 1925, «Литературное наследство», т. 70, стр. 39—40, а также *И. Бабель. «Избранное»*, М., 1966, стр. 431—432, 481). Однако действие настоящего рассказа относится к зиме 1916 г.

² *Висенте Бласко Ибаньес* (1867—1928) — популярный в России испанский романист.

³ *Николай Рерих* (1874—1947) — известный русский художник.

⁴ *Ф. Шаляпин* (1873—1938) — знаменитый русский певец. «*Юдифь*» — опера русского композитора А. Н. Серова.

⁵ *Le soleil de France* — солнце Франции (франц.).

⁶ *Ma belle* — моя красавица (франц.).

⁷ *Ce diable de Polyte* — этот дьявол Полит (франц.).

⁸ *Mon vieux* — старина, дружище (франц.).

⁹ ...книгу *Эдуарда де Мениаль...* — *Edouard de Maunial*, «*La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant*», Париж, 1907. Бабель цитирует далее рассказ врача по этому изданию (стр. 282).

ДОРОГА (стр. 90)

Впервые: ж. «30 дней» (1932, № 3). Датировано 1920—30 гг. При жизни автора более не печатался, хотя и был анонсирован для одного из номеров журнала «Знамя» за 1935 г. Автограф хранится в ЦГАЛИ (ф. 1559, оп. 1, ед. хр. 2).

Опубликован в сборниках «Избранное» (1957 и 1966) с цензурными купюрами.

Вторая половина рассказа — приезд в Петроград — переработанный вариант рассказа «Вечер у императрицы (Из петербургского дневника)», опубликованного в одесском журнале «Силуэты», 1922, № 1 (вошел в сборник «Избранное», Кемерово, 1966).

Стр. 91. *За спиной телеграфиста... кушай кошерное.* —

В сборниках 1957 и 1966 гг. исключено редакторами или цензурой.

¹ *М.А. Муравьев* до Октябрьской революции примкнул к эсерам, а после революции служил большевистскому правительству. С начала 1918 г. командовал отрядом красногвардейцев, направленным против украинской Центральной рады. Отличался жестокостью, особенно проявившейся после взятия Киева.

² *А.В. Луначарский* (1875—1933) — в то время Народный Комиссар просвещения.

³ *Трефное* — запрещенная по еврейским религиозным предписаниям пища; *кошерное* — годная, разрешенная к употреблению пища.

⁴ *Анклойф* (антлойф; идиш) — беги.

⁵ *Чека* — см. комментарий к «Автобиографии».

⁶ *Иегуда Галеви* (до 1075—1141) — величайший из еврейских поэтов средневековья — представителей еврейско-испанской поэзии на иврите, родился и жил в Толедо. В конце жизни отправился в Палестину и, по преданию, был убит арабским всадником «в самом конце пути» — у ворот Иерусалима.

⁷ *Александр Александрович* — император Александр III.

⁸ Его величеству императору всероссийскому (франц.).

⁹ *Королева Луиза* — жена датского короля Христиана IX. Ее дочь Дагмара вышла замуж за русского царя Александра III и стала Марией Федоровной. Другая дочь была женой английского короля Эдуарда VII, а сын Георг стал королем Греции. Сын Марии Федоровны — Николай II, последний русский царь, расстрелянный в 1918 г.

¹⁰ *Моисей Соломонович Урицкий* (1873—1918) — председатель Петроградской Чрезвычайной комиссии. Убит эсерами.

Третий раздел

КОНАРМИЯ

Для Бабеля переживания войны начались уже на румынском фронте в 1917 г. В июне 1920 г. появились его че-

тыре очерка о мировой войне «На поле чести» в одесском журнале «Лава», № 1, стр. 10—13. Сюжет трех из них взят из книги *Gaston Vidal. «Figures et anecdotes de la Grande Guerre»*, Париж, 1918. Летом 1920 г. он стал корреспондентом Юг-РОСТА, сотрудником политотдела 1-й Конной армии Буденного, переведенной на польский фронт. Его статьи появлялись в газете политотдела «Красный кавалерист» под псевдонимом «К. Лютов». Под этим именем он и служил в конармии.

Конармейский дневник Бабеля от июня—сентября (сохранился не полностью) находится у вдовы Бабеля А.Н. Пирожковой. Дневник насыщен впечатлениями автора, описаниями людей, событий, ситуаций, быта еврейских местечек, «следов польской культуры», деталями и фразами, вошедшими затем в «Конармию». О том, что записи в дневнике с самого начала рассматривались Бабелем как материал для будущих рассказов, свидетельствуют многочисленные пометки типа: «описать», «запомнить», «не забыть бы». Сам Бабель в 1938 г. отмечал: «В дальнейшем я писал, пользуясь этим дневником» (ИМЛИ, ф. 43, оп. 1, ед. хр. 944, 2б, л. 33). Сохранились также планы и наброски ко многим рассказам «Конармии».

Отрывки из дневника и набросков приводятся ниже в комментариях, некоторые из них не вошли в публикацию «Литературного наследства» (т. 74, 1965) и публикуются здесь впервые по архивным источникам.

Дневник дает материал для суждения о сложном и трагическом мироощущении автора, его отношении к своему прошлому, к еврейству, к окружающей его жестокой действительности. См. также его неоконченное письмо от 13. 8. 1920 г.: «Я пережил здесь две недели полного отчаяния, это произошло от свирепой жестокости, не утихающей здесь ни на минуту, и от того, что я ясно понял, к[а]к непригоден я для дела разрушения, к[а]к трудно отрываться мне от старины... от того, что было и м[ожет] б[ыть] худо, но дышало для меня поэзией, как улей медом, я отхожу теперь, ну что же — одни будут делать революцию, а я буду, я буду петь то, что находится сбоку, то, что находится поглубже, я почувствовал, что смогу это сделать, и место будет для этого и время...»

В «Конармию» не попали многие сюжеты, намеченные в дневнике и набросках. Осталось, например, неиспользованным приводимое ниже описание дня 9 Ава в местечке Демидовка: «Главные раздоры — сегодня суббота. Прищепа заставляет варить картошку, а завтра пост 9 Аба и я молчу, п.ч. я русский. Зубной врач, бледнея от гордости и чувства собственного достоинства, заявляет, что никто не будет копать картошки, потому что праздник...» (Дневник от 24.7.1920). «9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает мать и говорит, что верит в Бога, для того чтобы сделать ей приятное, приятным тенорком поет и объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные, тоскующие слова. Коптит лампочка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидовка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм...» (там же). В набросках «Демидовка» мы читаем: «9 Аба — Разрушение Иерусалима... Плач Иеремии... О 9 Аба — построить на соответствии молитвы и того, что за стеной.»

Рассказы, вошедшие впоследствии в книгу «Конармия», первоначально печатались в различных одесских и московских журналах и газетах, в основном в 1923—1925 гг. (авторские датировки 1920 г. обозначают не время написания рассказов, а время действия). Роль основного рассказчика выполняет Кирилл Васильевич Лютов, еврей-интеллигент, сначала сотрудник политотдела, журналист, затем боец Конной армии. Образ Лютова, разумеется, нельзя отождествлять с Бабелем (несмотря на то, что он служил в Конармии и печатался в газете «Красный кавалерист» под этим именем), но их невозможно и полностью отделить друг от друга (см. выше статью С. Маркиша).

Рассказы Бабеля вызвали большой интерес, но также и критику. Известен резкий отзыв С. Буденного, который увидел в рассказах Бабеля только бабьи сплетни: «Для того, чтобы описать героическую, небывалую еще в истории человечества борьбу классов, надо прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, т.е. быть диалектиком, быть марксистом-художником. Ни того, ни дру-

гого у автора нет» (С. Буденный. «Бабизм Бабеля из «Красной нови», «Октябрь», 1924, № 3).

Бабель ответил Буденному письмом в редакцию, опубликованным в следующем номере журнала «Октябрь» (1924, № 4). Позднее в защиту Бабеля выступил Горький (см. «О том, как я учился писать», «Правда» от 30. 9. 1928, а также «Ответ С. Буденному» — «Правда» от 27. 11. 1928 — в связи с «Открытым письмом М. Горькому» Буденного в «Правде» от 26. 10. 1928, в котором тот продолжает настаивать на отрицательной оценке «Конармии»).

Большинство конармейских рассказов публиковалось в «Одесских известиях» в 1923 г. В 1925 г. вышел сборник «Рассказы» (Библиотека «Огонек», № 5), состоящий из пяти конармейских рассказов, а в мае 1926 г. — первое издание «Конармии». Оно было связано с определенными трудностями, о чем свидетельствует письмо Бабеля редактору книги Д. А. Фурманову от 4 февраля 1926 г., где он говорит, что выбросил «опасные места» в одних рассказах, не знает, чем можно заменить «обвиняемые фразы» в других и т. д. Но отличия текста издания «Конармии» 1926 г. от первых публикаций оказались в большинстве случаев незначительными: переименованы некоторые рассказы, проведена стилистическая правка, сняты датировки некоторых рассказов, не включен напечатанный ранее (в «Известиях Одесского губисполкома» от 23. 2. 1923) рассказ «Гришук». Исключенные в изд. 1926 г. отрывки текста восстановлены нами в примечаниях.

С 1926 по 1933 г. книга выдержала 8 изданий, а также включалась в сборники рассказов Бабеля до 1936 и после «посмертной реабилитации» писателя (1957 и 1966 гг.). В Москве, в театре им. Вахтангова, был поставлен спектакль по «Конармии». Книга переведена на многие языки.

В 7—8 изд. (1933 г.) в «Конармию» вошел еще один рассказ — «Аргамак», создавший новую концовку книги. Тематически и композиционно связаны с «Конармией» рассказ «Поцелуй» («Красная новь», 1937, № 7), хотя он никогда не включался в этот цикл, за исключением «Избранного» (Кемерово, 1966), а также рассказы «У батьки Махно» и «Старательная женщина».

Мы воспроизводим ставшее недоступным 1-е издание «Конармии» 1926 г. с приложением рассказа «Аргмак» и перечисляем в примечаниях предшествующие публикации. Отмечены наиболее существенные отличия как от более ранних, журнальных, публикаций, так и от изданий, которые выходили в 30-х гг. с цензурными искажениями, купюрами и с стилистическими правками автора.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ (стр. 101)

Впервые: газ. «Правда» от 3. 8. 1924, под шапкой «Из дневника», затем в журнале «Красная новь», 1925, № 3.

Этим рассказом начинается мир «Конармии»: мы перешли с рассказчиком польскую границу. Новоград-Волынский (взят 27.6.1920) находится не на реке Збруч, а на реке Случ.

Стр. 101. ...*по неувядаемому шоссе...* — в поздних изданиях отсутствует; осталось: *по шоссе, идущему...* и т.д.

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ (стр. 103)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 18. 2. 1923, № 963, под шапкой «Из книги «Конармия»; под шапкой «Из дневника» в ж. «Красная нива», 1924, № 39, с датировкой: «Конармия, Новоград-Волынский, июль 1920 г.», опущенной во всех изданиях «Конармии».

¹ *Речь Посполита* (точнее — *Жечь Поспóлита*, польск. Rzeczpospolita — официальное название польско-литовского государства в период его расцвета — 16—18 вв., здесь — вообще о Польше. *И. Пилсудский* (1867—1935) — польский политический деятель, боровшийся за восстановление независимости Польши и ее былого величия; в 1918 г. был провозглашен «Начальником государства (панства)», а в 1920 г. также Маршалом Польши. *Радзивиллы и Сапегы* — старинные и знатнейшие княжеские роды Речи Посполитой, здесь — о князе Януше

Радзивилле и князе Юстахе Сапеге, польских политических деятелях 20 в., продолжавших борьбу против России.

² *Святой Петр* — один из двенадцати апостолов; *Франциск* (Франциск Ассизский, основатель ордена монахов францисканцев), *Винцент* — святые католической церкви.

ПИСЬМО (стр. 106)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 11. 2. 1923, № 957, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Леф», 1923, № 4, август—декабрь; в сборниках «Октябрь в литературе», ч. 2, М., 1924; *И. Бабель*. «Рассказы», М., 1925; «Деревня в современной художественной литературе», М., 1926. Датировано: «Новоград-Волыньск, июнь 1920 г. В ранних изданиях вместо Павличенки — настоящая фамилия: Апанасенко.

¹ *А.И.Деникин* (1872—1947) — генерал, командовал антибольшевистской армией на юге России.

² *Лев Давидович Бронштейн (Троцкий)* (1879—1940) — еврей-революционер, с 1918 до 1925 г. был Народным Комиссаром по военным и морским делам, председателем Реввоенсовета республики. В 1929г., ввиду его разногласий со Сталиным, изгнан из России. В 1940 г. убит в Мексике.

Во всех изданиях начиная с 1933 г. имя Троцкого опущено.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА (стр. 110)

Впервые: ж. «Леф», 1923, № 4, август—декабрь, под заголовком «Дьяков». См. записи в дневнике: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, красные| штаны с серебр[яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична, [...] командир у нас героический, был атлетом, полуграмотен, теперь [...] Дьяков — коммунист, смелый, старый буденновец. [...]

Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура. С трудом читает бумажки, кажд[ый] раз теряет их, одолела, говорит, канцелярщина, откажусь, что без меня делать будут, ругань, разговор с мужиками, те разинули рты». (Белев, 13. 7. 1920 г.). «На деревне стон, меняют лошадей, дают одров, травят хлеба, забирают скот, жалобы начальнику штаба» (Белев, 14. 7. 1920 г.). «Наштадив сидит на лавке — крестьянин захлебывается от негодования, показывает полумертвого одра, которого ему дали взамен хорошей лошади. Приезжает Дьяков, разговор короток. За такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимается, значит это лошадь» (Новоселки, 16. 7. 1920 г.)

ПАН АПОЛЕК (стр. 113)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома», конец января 1923 г., под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Красная новь», 1923, № 7, декабрь (под шапкой «Миниатюры») и в сборнике *И. Бабель* «Рассказы», Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925; датировано «Новоград-Волыньск, июнь 1920».

Стр. 117. *...война безжалостная, как страсть иезуита.* — В изданиях с начала 30-х гг. отсутствует.

...как цветение тропического сада. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 120. *...и лукаво отводя взоры...* — в поздних изданиях отсутствует.

¹ *Лев XIII* (1810—1903) — римский папа с 1878 г.

² *Тайная вечеря* — пасхальная трапеза Иисуса с апостолами перед его осуждением; изображалась многими художниками. *Побиение камнями Марии из Магдалы* — это ошибка: «побиению камнями», по Евангелию, подверглась не Мария Магдалина, а другая женщина, имя которой не названо.

³ Выбор природы Аполеком не случаен: апостол Павел был обращенным (крестившимся) иудеем, Мария Магда-

лина — грешница (раскаявшаяся под влиянием проповедей Иисуса).

⁴ *Иуда Искариот* — апостол, предавший Иисуса. Его имя стало нарицательным для обозначения предателя.

⁵ Имеется в виду Иосиф, муж Марии, матери Иисуса.

⁶ *Лука делла Роббиа* (1399—1482) — известный итальянский скульптор. *О семье плотника из Вифлеема* — о «святом семействе»: Иосиф (он был плотником), Мария, Иисус. *Вифлеем* — Бет-Лехем, место рождения Иисуса.

⁷ *О, этот человек... Этого человека убьют люди* (искаж. польск.).

⁸ — *Что вы говорите?* (польск.).

⁹ Святой Франциск отличался любовью к животным, проповедовал милосердие ко всякому живому существу.

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ (стр. 121)

Впервые (под заглавием «Сидоров»): ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май; датировано: «Новоград, июнь 1920 г.».

Стр. 121. *Душа... июльским туманом.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 122. *Неясный хмель спал с меня.* — В поздних изданиях отсутствует. В «Красной нови»: *Неясный хмель спал с меня, как чешуя линяющей змеи.*

...длинную змею мужицкой своей усмешки. — В изданиях с начала 30-х гг.: *мужицкую свою усмешку.*

¹ *Бесшумный Збруч* — Новоград-Волыньск находится не на реке Збруч, а на реке Случ.

² *Нестор Иванович Махно* (1889—1934) — украинский анархист, вождь («батько») «революционно-повстанческой армии Украины», воевал и против белогвардейских армий, и против Красной армии, но несколько раз становился временным ее союзником. Его имя связано с бандитизмом, жестокими убийствами, еврейскими погромами. Волин был одним из его последователей, «апостолов». О Махно написан рассказ Бабеля, не вошедший в «Конар-

мию», «У батьки нашего Махно» («Красная новь», 1924, № 4).

³*Цека* (ЦК) — Центральный Комитет, *цекисты* — члены, сотрудники Цека. В «Избранном», М., 1966, вместо *самодельного Цека* — бессмысленное *самодельного цеха; made in Харьков* — изготовлено в Харькове (англ.).

ГЕДАЛИ (стр. 124)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» (1923), под шапкой «Из книги «Конармия», вторично в ж. «Красная новь», 1924, № 4, июнь—июль. Датировано: «Житомир, июнь 1920 г.».

Имя Гедали в дневнике не встречается, но см. запись от 3.6.1920 г.: «Базар в Житомире..., здания синагог, старинная архитектура, как все это берет меня за душу. — Стекло к часам 1200 р. Рынок. Маленький еврейский философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия — Все говорят, что они воюют за правду и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова. Бороденка, разговариваем, чай и три пирожка с яблочками — 750 р.».

Стр. 126. *О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний!* — В более поздних изданиях отсутствует.

¹ *Авраам Ибн-Эзра* (1089—1167) — выдающийся еврейский поэт, философ, ученый; здесь — о его известных комментариях к Библии.

² *Чарльз Диккенс* (1812—1870) — известный английский писатель; «Лавка древностей» — название одного из его романов.

³ *Раши* (правильнее — *Раши*) — аббревиатура имени рабби Шломо Ицхаки (1040—1105), знаменитого комментатора Библии и Талмуда. Так же называют и самый комментарий. *Маймонид* — Моше бен Маймон (1135—1204), известный под аббревиатурой Рамбам, — выдающийся еврейский философ и ученый.

⁴ *И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.* Субботу (шабат) евреи встречают в пятницу вечером, с заходом солнца (см. в начале рассказа — *в субботние кануны, на иврите: эрев шабат*). Рассказчик использовал здесь древний поэтический образ субботы как королевы и невесты в субботней молитве.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ (стр. 129)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома», начало мая 1923 г., под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Лэф», 1924, № 1; датировано: «Июль, 1920 г.».

В тексте первых публикаций фамилия начдива настоящая — Тимошенко, но после письма к Бабелю Мельникова (см. примечания к рассказу «История одной лошади») появилась вымышленная фамилия Савицкого.

Стр. 129. — *Сказывай!* — *крикнул он... к штабу дивизии.* — Вместо этого абзаца в поздних изданиях: *Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.*

Стр. 130. *Сундучок* — в изданиях 1924—1931 гг. — *котелок* — по всей вероятности, опечатка.

¹ *Киндербальзам* (нем. — буквально «детский бальзам»), слабая сладкая спиртовая настойка, употребляемая как лечебное средство; здесь — пренебрежительно об интеллигенте, белоручке.

² *Коминтерн* — Третий Интернационал, международная организация, созданная в 1919 г. для объединения коммунистических сил. Второй конгресс Коминтерна состоялся 19.7.1920 г.

РАББИ (стр. 133)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 1, январь—февраль. Автограф рассказа без первой страницы хранится в архиве журнала (ЦГАЛИ, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 4, лл. 1—5).

В дневнике Бабель описывает свои впечатления о городе

Житомире: его базар, недавний погром, устроенный поляками, потом казаками... «Заходит суббота, от тестя идем к цадику. Имени не разобрал. Потрясающая для меня картина, хотя совершенно ясно видно умирание и полный деканс. Сам цадик его [неразб.] тощая фигурка. Сын — благородный мальчик в капотике, видны мещанские, но просторные комнаты. Все чинно, жена — обыкновенная еврейка, даже типа модерн. — Лица старых евреев. — Разговоры в углу о дороговизне. — Я путаюсь в молитвеннике. Подольский поправляет. — Вместо свечи — копилка. — Я счастлив, огромные лица, горбатые носы, черные с проседью бороды, о многом думаю, до свиданья, мертвецы, лицо цадика, никелевое пенсне, откуда вы, молодой человек. Из Одессы. Как там живут. Там люди живы. — А здесь ужас. — Короткий разговор — ухожу, потрясенный — Подольский бледный и печальный дает мне свой адрес, чудесный вечер. Иду, думаю обо всем, тихие, чужие улицы. Кондратьев с черненькой еврейкой. Бедный комендант, в папаше, он не имеет успеха. — А потом ночь, поезд, разрисованные лозунги коммунизма (контраст с тем, что я видел у старых евреев). Стук машин, своя электрическая станция, свои газеты, идет сеанс синеатографа, поезд сияет, грохочет, толстомордые солдаты стоят в хвост у прачек». (Житомир, 3. 6. 1920 г.)

Стр. 133. *Рабби* (буквально 'учитель') — духовный глава, руководитель группы хасидов, его приверженцев (см. примечания к рассказу «Шабос-нахаму»), его зовут также *цадик* (буквально 'праведник'). Наследует его место обычно старший сын, таким образом возникали хасидские династии; о рабби Моталэ в рассказе говорится, что он «последний рабби из Чернобыльской династии» (см. также рассказ «Сын рабби»).

...яростных ветров истории. — В поздних изданиях опущено *яростных.*

¹ У многих хасидов носят не только ермолку, но и меховую шапку. Халат тоже часть хасидской одежды, однако белый халат бычно носят только ребе в некоторых хасидских группах. Во время молитвы хасиды подпоясываются

ремнем. Этим традициям приписывается мистическое значение.

² — *Откуда приехал еврей?* — обычное обращение на идиш среди евреев. В издании 1926 г. ошибочно напечатано: *Откуда приехал, еврей?*

³ *Благочестивый город...* — иронически об Одессе, которая прославилась как безбожный город, центр еврейского (светского) просвещения («Гаскалы»).

⁴ — *Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.* «Дубенские синагоги. Все разгромлено. [...] Пятница. Какие изуродованные фигурки, какие изможденные лица, все воскресло для меня, что было 300 лет, старики бегают по синагоге — воя нет, почему-то все ходят из угла в угол, молитва самая непринужденная. Вероятно, здесь скопились самые отвратительные на вид евреи Дубно. Я молюсь, вернее, почти молюсь и думаю о Гершеле, вот как бы описать...» (Дневник, 23. 7. 1920 г. См. примечания к рассказу «Шабос-нахаму»).

⁵ *Спиноза* — великий мыслитель, еврей, подвергшийся отлучению (херем). См. примечания к рассказу «В подвале».

⁶ В субботу верующие евреи не курят.

⁷ *Газета «Красный кавалерист»* — орган политотдела 1-й Конной армии, в котором Бабель сотрудничал под псевдонимом «К. Лютов». См. вводные примечания к настоящему разделу.

ПУТЬ В БРОДЫ (стр. 136)

Впервые: литературно-научное приложение к газ. «Известия Одесского губисполкома» от 17. 6. 1923, № 1060, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Прожектор», 1923, № 21, декабрь, и в сборнике *И. Бабель. «Рассказы»*, Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925.

В рассказе использована запись в дневнике (Чесники, 31.8.1920); см. также запись в черновиках: «*О пчелах, Рассказ? Фигура старика-чеха. Он погиб искусанный.*»

Стр. 136. ...неописуемые улы. — В поздних изданиях отсутствует *неописуемые*.

Поэтому...к моим печалям. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 137. В ранних изданиях после *стали ему подпевать* было: *и даже Грищук, дремавший на козлах, передвинул картуз на бок.*

...навстречу героическому закату. — В поздних изданиях отсутствует *героическому*.

¹ *Иосиф*, муж матери Иисуса, был плотником.

УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ (стр. 138)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 23. 2. 1923, № 967, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Прожектор», 1923, № 21, декабрь, и в сборнике *И.Бабель. «Рассказы», Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925.*

Стр. 138. *История его ужасна.* — В поздних изданиях отсутствует.

...рубить — тачанка — конь... — в изданиях с 1936 г.: *рубить — тачанка — кровь...*

Таков задушенный нами Махно. — В поздних изданиях пропущено *задушенный нами*.

¹ В дневнике эта фамилия часто упоминается. Рассказ «Грищук» был опубликован вместе с рассказом «Учение о тачанке» в «Одесских известиях» от 23.2.1923, но в книгу «Конармия» не вошел.

² *С. М. Буденный* (1883—1973) — донской казак, служил в царской армии, после революции сформировал из казаков конный отряд, преобразованный в полк, бригаду, дивизию, корпус (см. рассказ «Сашка Христос»). С 1919 г. — командующий 1-й Конной армией. Впоследствии маршал. Герой Советского Союза. Его имя как героя гражданской войны окружено легендами. К рассказам Бабеля о конармии относился резко отрицательно (см. вводные примечания).

ния к настоящему разделу). О *Махно* см. примечания к рассказу «Солнце Италии».

³ По преданию, св. Урсула вместе с 11 000 девиц погибла в 4 в. н.э. в Кельне.

⁴ См. в дневнике: «Евреи — портреты, длинные, молчаливые, длиннородые, не наши jovial» (Пелга-Воратин, 21. 7. 1920 г.). *Жовиальный* — веселый, жизнерадостный (от франц. jovial).

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА (стр. 141)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 1. 5. 1923, № 1022, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Леф», 1923, № 4 и в ж. «Огонек», 1923, № 9, май; затем в сборнике «Октябрь в литературе», ч. 2, М., 1924 г., и в книге *И. Бабель. «Рассказы»*, Госиздат, М.—Л., 1925. В этой книге фамилия начдива 4 — Смышляев.

Стр. 144. *И я принял милостыню... благоговением.* — В книге «Рассказы», М.—Л., 1925, после *от Грищука* были слова: *от простого человека.* В издании 1931 г. опущено с *грустью и благоговением*, в поздних изданиях отсутствует вся фраза.

КОМБРИГ 2 (стр. 145)

Впервые (под заглавием «Колесников»): ж. «Леф», 1923, № 4. Перепечатано в сб. «Революционная Россия», М.—Л., 1926. В тексте первой публикации фамилия комиссара Алмазова — Гришин.

Стр. 146. *...в столбах голубой пыли.* — Начиная с издания 1931 г. — *густой пыли.*

— *Есть,...* закрыл глаза. — В тексте ж. «Леф» вместо этого было:

— *Есть,* — ответил Буденый.

И в это мгновение первый польский снаряд стал чертить над нами свой завывающий полет.

— *Идут рысью, — сказал наблюдатель.*

— *Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза. Ура, едва слышное, удалялось от нас, как нежная песнь.*

— *Идут карьером, — сказал наблюдатель, пошевелив ветвями. Буденный курил, не открывая глаз.*

Канонада пылила, разрасталась, сияла молниями, заволакивала своды, ковала их ударами и громом.

— *Бригада атакует неприятеля, — пропел наблюдатель там вверху.*

¹ *Буденный* — см. примечание к рассказу «Учение о тачанке».

САШКА ХРИСТОС (стр. 147)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 1, январь—февраль; вторично в сб. *И.Бабель. «Рассказы»*. Госиздат, М.—Л., 1925.

Стр. 148. ...и набаловался сколько мог. — В поздних изданиях опущено.

¹ *Станица Платовская* — родная станица С.М. Буденного, здесь он начинал формирование своего конного отряда (см. примечание к рассказу «Учение о тачанке»). Первая Конная армия принимала участие в защите *Царицына* (переименован в Сталинград, затем, в 1961 году, — в Волгоград) в январе 1919 г. Здесь же формировал *10-ю армию К.Е. Ворошилов* (1881—1969, в будущем — нарком, маршал и председатель Президиума Верховного Совета СССР).

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА (стр. 152)

Впервые: ж. «Шквал» (Одесса), 1924, № 8, декабрь, затем в ж. «30 дней», 1925, № 1, апрель, и в книге: *И.Бабель.*

«Рассказы», Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925. Машинопись с правкой автора хранится в ИМЛИ (ф. 86, оп. 1, ед. хр. 2, лл. 1—5) с посвящением «Мите Шмидту, начдиву второй червонной», опубликованном в ранних изданиях, но опущенном в «Конармии».

Рассказ по своему сюжету частично связан с наброском «Жизнеописание Апанасенки»: «Унтер-офицер. 4 Георгия. Сын свинопаса. — Собрал деревню. Действовал на свой страх и риск. — Соединился с Буденным. — Астраханский поход. — Послание к полякам, которое начинается так: сволочи. Составить послание».

КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ (стр. 158)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 23. 2. 1923, № 967, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Прожектор», 1923, № 21, декабрь и в книге *И. Бабель*. «Рассказы», Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925.

Кладбище в Козине не раз упоминается в дневнике, а также в набросках к «Конармии». В дневнике читаем: «Еврейское кладбище за [одно слово неразборчиво] сотни лет, камни повалились, почти все одной формы, овальные сверху, кладбище заросло травой, оно видело Хмельницкого, теперь Буденного, несчастное еврейское] население, все повторяется, теперь эта история поляки — казаки — евреи — с поразительной точностью повторяется, новое — коммунизм» (Новоселки — Мал. Дорогостай, 18. 7. 1920 г.). «Кладбище, разрушенный домик рабби Азраила, три поколения, памятник под выросшим над ним деревом. Эти старые камни, все одинаковой формы, одного содержания, этот замученный еврей — мой проводник...» (Пелга-Воратин, 21.7.1920). «И я думаю — несчастный Козин. Кладбище, круглые камни» (24.7.1920).

¹ См. примечание к рассказу «Рабби».

² *Богдан Хмельницкий* (1595—1657) — гетман Украины, возглавил восстание казаков против Польши, завершив-

шеся присоединением Украины к России. Хмельничина сопровождалась зверскими расправами над еврейским населением и уничтожением сотен еврейских общин.

ПРИЩЕПА (стр. 159)

Впервые: литературно-научное приложение к газ. «Известия Одесского губисполкома» от 17. 6. 1923, № 1060, под шапкой «Из книги «Конармия». Затем ж. «Леф», 1923, № 4. Датировано: «Демидовка, июль 1920 г.».

¹ ...попрежнему Прищепа. В предшествующих рассказах Прищепа не упоминался, но подробно описан в дневнике: «Из Кривых с Прищепой еду в Лешнюв на Демидовку. Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество по станице. Декоративен, башлык, прост, как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей...» (24. 7. 1920 г.). Прищепа издевается над еврейской семьей в Демидовке, заставляет евреев варить картошку в день 9 Ава, преследует еврейскую девушку (см. вводные примечания к настоящему разделу). Он ведет спор с еврейским юношей о Боге: «Прищепа оскорбительно глуп, он разговаривает о религии в древности, путая христ[ианство] с язычеством; главное в древности было коммуна[...]» (там же).

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ (стр. 160)

Впервые (вместе с «Продолжением истории одной лошади» под заглавием «Тимошенко и Мельников»): газ. «Известия Одесского губисполкома» от 13. 4. 1923, вторично — ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май.

Начиная с первого издания «Конармии» подлинные фамилии героев рассказа — Тимошенко и Мельников — заменены вымышленными — Савицкий и Хлебников (см. также в рассказе «Мой первый гусь»). Замена фамилий, очевидно, вызвана письмом Мельникова в редакцию жур-

нала «Красная новь» от 4. 7. 1924 г., в котором он, благодаря Бабеля за его рассказы о Конной армии, замечает: «Указание, что я подал военкому заявление о выходе из РКП(б), не соответствует истине» (ЦГАЛИ, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 1718; см. также С. Мельников «Первая конная (из воспоминаний бойца)», «Красная новь», 1930, № 6, стр. 6—7). В упоминавшемся ранее ответе С. Буденному (ж. «Октябрь», 1924, № 4) Бабель приносит свои извинения Тимошенке и Мельникову за использование их фамилий.

См. в черновиках описание Тимошенко: «C'est superbe! — Декоративный начдив. — Переезд, красная фуражка, белый жеребец...» (см. также примечание к рассказу «Продолжение истории одной лошади»).

Стр. 164. *И он рассказывал... потому, что...* — В поздних изданиях (с 30-х годов) отсутствует.

КОНКИН (стр. 164)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май. Датировано: «Дубно, август 1920 г.».

Персонаж по имени Конкин не раз фигурирует в набросках под заглавием «Бой под Бродами».

¹ *Вести в штаб Духонина* в солдатском обиходе могло значить *расстрелять*, очевидно, как каламбур, из-за корня «дух» в фамилии «Духонин». (Генерал Духонин был верховным главнокомандующим после бегства Керенского, убит солдатами в конце 1917 г.).

БЕРЕСТЕЧКО (стр. 167)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 3. Датировано: «Берестечко, август 1920 г.».

См. запись в дневнике 7. 8. 1920 г.: «Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Решибородских. 70-летний холостяк и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту

нару. Графский старинный польский дом, наверное больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетия, мать-графиня.

Рояль Стейнвей, парк, пруд.

Не могу отделаться — вспоминаю Гауптмана, Эльгу.

Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегают летвора, выбирают ревом, евреи наматывают бороны, еврейки слушают о российском рае, международном положении, восстании в Индии.

Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с пахлым мешуресом [?], неожиданно красноречив, о чем он говорил?»

Здесь же рассказ о том, как поляки истязали еврея-аптекаря раскаленным железом (описано Бабелем в статье «Рыцари цивилизации» в газете «Красный кавалерист», 14. 8. 1920 г.).

Стр. 167. ...как приклеенная. — В ранних изданиях после этого была фраза: *Ее рукоятка из черной кости правлена пышным узором, и футляр хранится у ординарцев, ведущих за начдивом заводных коней.* В поздних изданиях отсутствуют слова: *как приклеенная.*

Стр. 168. *Соседство трех племен...не упился.* — Опущено в изданиях после реабилитации Бабеля явно по цензурным соображениям.

¹ Под Берестечком Хмельницкий (см. примечания к рассказу «Кладбище в Козине») потерпел поражение от поляков.

² См. примечание к рассказу «Мой первый гусь».

³ *Хедер* — начальная еврейская духовная школа.

⁴ *Цадику* его приверженцы-хасиды приписывают чудодейственные способности.

СОЛЬ (стр. 170)

Впервые: «Литературно-художественное приложение к газ. «Известия Одесского губисполкома» от 25. 11. 1923, № 1195, под шапкой «Из книги «Конармия». Перепечатано в ж. «Леф», 1923, № 4, август—декабрь; в книге *И. Бабель*. «Рассказы». Госиздат, М.—Л., 1925. Бабель написал по этому рассказу киносценарий, поставленный режиссером П. Чарлыниным на Одесской кинофабрике ВУФКУ в 1925 г.

Стр. 173. *...пострадавшие...ночью.* — В поздних изданиях с начала 30-х гг. опущено *от нас*.

...вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...на вольную дорогу жизни... — во всех поздних изданиях изъяты слова: *Ленина и Троцкого*, а также весь отрывок: *между прочим ... на вольную дорогу жизни*. Следовательно, осталось: *«...Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...»*

.. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка... — и далее, как в тексте.

Действительно, многие казаки приписывали интеллигенту Ленину еврейское происхождение и превозносили Троцкого как русского бойца (см. *Л.Троцкий*. «Моя жизнь»).

ВЕЧЕР (стр. 174)

Впервые (под названием «Галин»): ж. «Красная новь», 1925, № 3, апрель, под шапкой «Из дневника». Перепечатано в одесском журнале «Шквал», 1925, № 15.

Стр. 175. *Так смотрит...неудобства зачатия.* — В ранних и в поздних изданиях отсутствует.

...мордатый победитель. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 176. *Вся партия...кровью и калом...* — в поздних изданиях отсутствует.

...русским тесным замирающим голосом... — в изданиях с начала 30-х гг. опущено *русским*.

¹ РКП — Российская Коммунистическая партия, позднее ВКП(б) — Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков), ныне КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза.

² *В прошлый раз...от пьянства — «Николай Кровавый»* — Николай II, последний русский царь, был убит в 1918 г. в г. Екатеринбурге (ныне Свердловск); *Петр III*, муж Екатерины II, был убит братьями Орловыми в заговоре с Екатериной, которую гвардия провозгласила императрицей; *Павел I*, сын Екатерины, был задушен в 1801 г., по всей вероятности, с согласия его сына Александра, ставшего царем; его брат *Николай I*, прозванный за свою жестокость, за процветавшие при нем телесные наказания в армии *Палкиным*, по официальной версии умер в 1855 г. от болезни, однако существует предположение, что он покончил с собой из-за поражений русской армии в Крымской войне, его сын Александр II был убит 1 марта 1881 г. террористами из партии «Народная воля» (в его карету была брошена бомба); его сын (*внук Николая I*) — Александр III, как считают, был алкоголиком.

АФОНЬКА БИДА (стр. 177)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» (1923 г.), под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь—февраль. Датировано: «Берестечко, август 1920 г.».

Стр. 182. *Прошла еще неделя.* — В ранней публикации после этого была фраза: *Смена начдива заслонила во всех умах чахлую фигурку Афоньки, его плоские семинарские махновские кудри.*

У СВЯТОГО ВАЛЕНТА (стр. 183)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май.

Рассказ связан с записью в дневнике от 7. 8. 1920 г. (см. также примечания к рассказу «Берестечко»): «Ужасное со-

бытие — разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм — 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича) сколько графов и хлопов, великолепная итальянская живопись, розовые матери, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо а м.б. Мурильо, и главное — это святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалами, в малиновом кунтухе, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает: зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги».

Стр. 185. *...сестра 31-го полка.* — В ранней публикации после этого была фраза: *Она разорвала ризы и сорвала шелк с чьих-то одеяний.*

Они захохотали... Тело Сашки, цветущее... — вместо этого в ранней публикации: *Они захохотали и схватили ее за грудь и сунули ей под юбки золоченные палки от балдахина. Курдюков, придурковатый малый, ударил ее по носу кадиллом, а Биценко кинул с размаху на гору материи и священных книг. Казаки заголили тело Сашки, цветущее...*

Она сбросила... в костел. — В ранней публикации: *Она сбросила его, разбила ему голову и кинулась к своему мешку. Я и казаки — мы едва отогнали ее от шелков. Направив на нас наган, она уходила, раскачиваясь, ворчала, как рассерженный пес, и тащила за собой мешок. Она унесла мешок с собой, и только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.*

Стр. 186. *Сведенный с ума...об Аполеке...* — в изданиях с начала 1930-х гг. отсутствует.

Стр. 187. *Мы недоверчиво...наши сердца.* — В поздних изданиях отсутствует.

...был курчавый жиденок... — В поздних изданиях был *курчавый еврей.*

¹ *Олоферн* — согласно книге «Юдифь» — военачальник

вторгшейся в Иудею ассирийской армии Навуходоносора, обезглавленный еврейкой Юдифью.

² *Рака* — гробница, в которой хранятся останки, мощи христианских святых.

ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ (стр. 188)

Впервые: ж. «Красная новь», 1925, № 2, февраль, и в одесском журнале «Шквал», 1925, № 13, под шапкой «Из книги «Конармия», затем в книге *И. Бабель*. «Любка Козак», Библиотека «Огонек», № 64, М., 1925. Машинопись рассказа хранится в ЦГАЛИ (ф. 341, оп. 2, ед. хр. 1).

В этот рассказ включены записи из дневника и строки из набросков «Сокаль 1», «Сокаль 2» и «Смерть Трунова». О расстреле пленных см. запись в дневнике от 30.8.1920 г.: «Пленные все раздеты. У командира эскадрона через седло перекинуты штаны. Шеко заставляет отдать. Пленных одевают, ничего не одели. Офицерская фуражка. «Их было девять». Вокруг них грязные слова. Хотят убить. Лысый хромающий еврей в кальсонах, не поспевающий за лошадью, страшное лицо, наверное офицер, надоедает всем, не может илти, все они в животном страхе, жалкие, несчастные люди, польские пролетарии, другой поляк — статный, спокойный, с бачками, в вязанной фуфайке, держит себя с достоинством, все допытываются — не офицер ли. Их хотят рубить. Над евреем собирается гроза. Неистовый путиловский рабочий, рубать их всех надо гадов, еврей прыгает за нами, мы тащим с собой пленных все время, потом отдаем на ответственность конвоиров. Что с ними будет. Ярость путиловского рабочего, пена брызжет, шашка, порубаю гадов и отвечать не буду».

Этот же эпизод в фрагментах «Их было девять» (опубликован в Нью-Йорке, «Новый журнал», июнь 1969 г.) и «Их было десять», автограф которого хранится у вдовы писателя.

Стр. 189. — *Илия — кричали они, ...заросшие рты.* — Эта фраза в поздних изданиях отсутствует.

Стр. 190. ...потому что мне не понять было...в Сокале... — в поздних изданиях отсутствует.

Стр. 193. ...юноша с гордой немецкой грудью... — в поздних изданиях вместо *гордой* — *белой*.

Троцкий, видно... — *закричал я изо всех сил*. — Начиная с 1933 г. фамилия Троцкого опущена. Стало: *Видно, не для тебя приказы пишут, Павел* и т.д. Имеется в виду приказ Троцкого не убивать пленных (см. также рассказ «Письмо»).

¹ Описание религиозных споров дано также в дневниках и набросках: «Осмотр города с молодым сионистом. Синагога — хасидская, потрясающее зрелище, 300 лет т[ому] н[азад], бледные красивые мальчики с пейсами, синагога, что была 200 лет назад, те же фигурки в капотах, двигаются, размахивают руками, воют. Это партия ортодоксов — они за Бельзского раввина, знаменитый Бельзский раввин, удравший в Вену. Умеренные за Гусятинского раввина. Их синагога. Красота алтаря, сделанного каким-то ремесленником, великолепие зеленоватых люстр, изъеденные столики. Бельзская синагога — видение старины. Евреи просят содействовать, чтобы не разорили, забирают пищу и товары...» (Дневник, 26.8.1920 г.). «Видение старины — за Бельзского раввина и за Гусятинского...» («Броды»). «Ортодоксы, раввин из Бельза... — Религиозное побоище, можно бы подумать восемнадцатый век, Илья-Гаон, Баал-Шем, если бы казаки (описание) не рыли могилы» («Сокаль I»). *Гаонами* называли выдающихся раввинов, мудрецов, талмудистов. *Виленским гаоном* был великий талмудист Элияху (Илия) бен Шломо (1720—1797) — активный противник хасидизма. *Каббала* — еврейское мистическое учение.

² *Махно* — см. примечание к рассказу «Солнце Италии».

³ — ...*край той войне...* все офицер утик, *край той войне...* — эта война закончена...все офицеры убежали, эта война закончена...; *цими пятью пальцами я выховал мою семейству...* — этими пятью пальцами я выходил свою семью (смесь русского с польским).

⁴ ...*эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро*. — О польской авиации Бабель пишет в дневнике: «Хороша система. —

Франк Мошер. Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня, неужели я совершил преступление, воюя с Сов|етской| Рос|сией. Сильно наше дело. Ах, как запахло Европой, кафе, цивилизацией, силой, старой культурой, много мыслей, смотрю, не отпускаю. Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны. Что говорят западно|европейским| солдатам? Русский империализм, хотят уничтожить национальность, обычаи, — вот главное, захватить все славянские земли, какие старые слова. Нескончаемый разговор с Мошером, погружаюсь в старое, растрясут тебя, Мошер, эх, Конан Дойль, письма в Нью-Йорк. Лукавит Мошер или нет — судорожно добивается, что такое большевики» (Белев, 14. 7. 1920 г.). Речь идет о том, что пленные делали вид, что они — евреи, в надежде на сочувствие со стороны большевиков, т.к. революционеры-интеллигенты считались все евреями. Зная западноевропейские языки, Бабель принимал участие в допросе пленных в качестве переводчика. Настоящая фамилия «еврея из Нью-Йорка» была М. Купер, американец из штата Флорида. *Седрик Э. Фаунт-Ле-Ро* действительно командовал эскадрилей польской авиации, в которой служили американские добровольцы. Но в середине июля он перешел в 6-ю польскую армию. Сокаль был взят Красной армией 26.8.1920 г., т.о. не может быть, чтобы Трунова убили аэропланы майора Фаунт-Ле-Ро. В августе 1920 г. Бабель пишет в дневнике под заглавием «Н.Милатин»: «Новое применение авиации, вспоминаю Мошера, капитана Фонт-Ле-Ро в Львове».

Описание американского летчика из дневника вошло в набросок под заглавием «Польская авиация. Бой под Львовом».

ИВАНЫ (стр. 195)

Впервые: альманах «Русский современник», 1924, № 1, под шапкой «Из книги «Конармия».

Стр. 198. *Лаврика, утешение мое на земле.* — В поздних изданиях отсутствует.

Она выливалась...стояла в пустых глазницах. — Описано в изданиях после реабилитации Бабея. Ср. в дневнике: «Страшное поле, усеянное порубленными, нечеловеческая жестокость, невероятные раны, проломленные черепа, молодые белые нагие тела сверкают на солнце, разбросанные записные книжки, листки, солдатские книжки, Евангелия, тела в жите» (3.8.1920 г.). Это описание вошло в набросок «Бой под Бродами».

¹ С. С. Каменев (1881—1936) — советский военный деятель, до революции офицер царской армии; в 1919—1924 гг. занимал пост главнокомандующего вооруженными силами Республики (Главком).

² *Пилсудский* — см. примечание к рассказу «Костел в Новограде».

³ *Шприц Тарновского* — Тарновский — известный врач-венеролог. См. запись в дневнике: «Страшная правда — все солдаты больны сифилисом [...] революция и сифилис. Галиция заражена сплошь» («Хотин», 28.7.1920 г.).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ
(стр. 202)

Впервые: вместе с рассказом «История одной лошади» в газ. «Известия Одесского губисполкома» от [? 13].4.1923 и вторично в ж. «Красная новь», 1924, № 3 (см. примечания к рассказу «История одной лошади»; см. также в наброске «Сокаль I»: «...Евреев разогнал аэроплан, тогда я подошел к Тим[ошенко]. Одна фраза из письма Мельникова — и страдания посередь той армии понимаю[...] Помните Мельникова, белый жеребец, прошение в армии. Он кланяется и передает вам свою любовь. Тим[ошенко] пишет на

крышке гроба, полевая книжка»). Этот набросок представляет собой первоначальный план рассказа «Эскадронный Трунов».

ВДОВА (стр. 204)

Впервые: «Литературно-художественное приложение к газ. «Известия Одесского губисполкома» от 15.7.1923, № 1084, и ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май, под названием «Шевелев» и под шапкой «Из книги «Конармия». Переименован в «Конармии» с 1926 г., но и после этого появлялся с первоначальным названием в книгах: «История моей голубятни», «Земля и фабрика», М.—Л., 1926 и 1927 гг. и «Конец святого Ипатия», «Земля и фабрика», М.—Л., 1927.

Стр. 205. — *Вот холуйское знатье...* — в изданиях после реабилитации Бабеля напечатано: *вот холуйское занятье*.

Стр. 206. *...хрустя и задыхаясь...на высокую траву*. — Весь этот эпизод, как и «обнаженное Сашкино колено» и фразы «Левка хрустел и задыхался в кустах», «Потом Сашка вернулась на прежнее место» — исключены в изданиях 1930-х годов, но восстановлены в изданиях, появившихся после посмертной реабилитации Бабеля.

Стр. 208. *Левка, холуй начдива...* — в поздних изданиях опущено.

ЗАМОСТЬЕ (стр. 208)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май, вторично в книге *И.Бабель. «Рассказы»*. Госиздат, М.—Л., 1925.

Стр. 208. *Все звезды были задушены...* — в поздних изданиях: *все звезды были потушены*.

Стр. 209. *...живого, движущегося пота...* — этих слов не было в ранних публикациях.

¹ — *Ниц нема* — ничего нет (польск.).

² — *Чекай* — подожди (польск.).

ИЗМЕНА (стр. 212)

Впервые: газ. «Известия Одесского губисполкома» от 20.3.1923 под шапкой «Из книги «Конармия», затем в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» от 13.3.1926 и в альманахе «Пролетарий», Харьков, 1926; в последнем под заголовком «Ненапечатанная глава из «Конармии», но к этому времени первое издание «Конармии» уже вышло в свет. Сведения о первой публикации рассказа в статье У.Спектора («Вопросы литературы», 1976, № 8), а также в сборнике «Избранное», 1966, неточны.

Стр. 213. *...я положил с походом, а не чуть ли...* — эти слова опущены во всех изданиях с начала 1930-х гг. как неприличные; осталось: *В госпиталь этот я не стрелял...* и далее, как в тексте.

Стр. 216. *...и острог постылых ребер...* — в поздних изданиях отсутствует.

...в обворовываемом дому... — в тексте, опубликованном в альманахе «Пролетарий» в 1926 г., после этих слов заключительная фраза: *Но мы отдерем половицу, восставшую против невинной грубости нашей, и мы нальем черной крови в сапоги, обученные не скрипеть...*

¹ *...в ряды империалистов ...сальник поудобнее. Р.Пуанкаре* — президент французской республики, *Ф.Эберт* и *Г.Носке* — президент и военный министр Веймарской (Германской) республики, подавившие революцию в Германии (Балмашов принимает их за одно лицо). Смысл всей этой нарочито путаной фразы в том, что Балмашов воевал за интересы империалистов, пока Ленин и Троцкий не указали ему его подлинного врага. Слова *совместно с товарищем Троцким* опущены во всех изданиях начиная с 1933 г.

ЧЕСНИКИ (стр. 217)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 3, апрель—май. В тексте ранней публикации дана настоящая фамилия начдива 6 — Апанасенко.

Стр. 217. *Штаб армии...пересмеивались.* — Эта фраза во всех изданиях с начала 30-х гг. опущена, очевидно, по цензурным соображениям.

...оборачиваясь к Буденому. — В ранней публикации: *потом он обернулся к Буденому и выстрелил в воздух.*

Стр. 219. *Две пухлых сестры...Подальше от сестер...* — во всех изданиях с начала 30-х гг. опущено целиком, очевидно, по цензурным соображениям.

¹ *Ворошилов* — см. примечания к рассказу «Сашка Христос».

² *Кирилл Васильич* — имя и отчество рассказчика Лютова, далее «Лютыч». См. вводные примечания к настоящему разделу.

ПОСЛЕ БОЯ (стр. 221)

Впервые: ж. «Прожектор», 1924, № 20, октябрь.

¹ *...ты молокан?* — Молокане — религиозная христианская секта; они отвергают государственную власть, отказываются воевать, проливать кровь.

ПЕСНЯ (стр. 225)

Опубликовано под заглавием «Вечер» в ж. «Красная новь», 1925, № 3, апрель, под шапкой «Из дневника». Датировано: «Сокаль, 1920 г.».

Стр. 226. *...в любви к ней я доходил до возвышенного сердечного восторга.* — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 227. *...Ежели желаете, я вам внимание окажу...* — в ранней публикации этих слов не было.

¹ *в зеленых походах* — т.е. в походах против так называемых «зеленых» — вооруженных банд крестьян, дезертиров из царской армии, скрывавшихся в лесах (отсюда и название «зеленые») от мобилизации.

СЫН РАББИ (стр. 228)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 1, январь—февраль. Автограф (без первой страницы) хранится в ЦГАЛИ (ф. 602, оп. 1, ед. хр. 4, лл. 6—9).

Сюжетно примыкает к рассказам «Гедали» и «Рабби»: он начинается с воспоминания о посещении рассказчиком — вместе с Гедали — цадика в Житомире.

В изданиях «Конармии» до 1933 г. — завершающий книгу рассказ (см. примечания к рассказу «Аргамак»).

Стр. 228. *И чудовищная Россия...вагонов.* — Вся эта фраза в изданиях после реабилитации Бабеля опущена, бесспорно, по цензурным соображениям.

Стр. 229. *...грудой листовок Троцкого.* — Во всех изданиях начиная с 1933 г. фамилия Троцкого опущена.

¹ *IV Интернационал.* III Интернационал — Коминтерн; в рассказе «Гедали» герой мечтает о новом Интернационале, «Интернационале добрых людей», рассказчик называет его там «основателем несбыточного интернационала».

² *Старый шут Чернобыльских цадиков* — реб Мордхэ из рассказа «Рабби». У религиозных евреев брать в руки деньги в субботу запрещается.

³ *Талес* — молитвенное облачение; *рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка* — о вышитом украшенном покрывале, в которое обернуты свитки Торы, хранящиеся в синагоге в «ковчеге» Торы — особом занавешенном шкафу. Здесь описан обряд субботнего богослужения, но не вполне точно (шкаф со свитками Торы в канун субботы не открывают).

⁴ *Илья* — «принц», наследник рабби из династии цадиков (см. рассказ «Рабби»).

⁵ *Маймонид* — выдающийся еврейский философ (см. примечания к рассказу «Гедали»).

⁶ *Песнь песней* — библейская книга, поэма о любви; приписывается царю Соломону.

⁷ *Филактерии* (на иврите *тфиллин*) — коробочки особой формы с вложенными в них выдержками из Торы, написанными на пергаменте. Укрепляются ремешками на лбу и одной руке во время утренней молитвы.

АРГАМАК (стр. 230)

Впервые: ж. «Новый мир», 1932, № 3, с подстрочным примечанием «Ненапечатанная глава из «Конармии» и с датировкой: 1924—1930 гг., в книге — с 7—8-го издания (1933).

Стр. 235. — *Еще что-нибудь, скажи.* — *Еще скажу.* — В изданиях «Конармии» отсутствует.

Четвертый раздел

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

Одесса была предметом длительного и глубокого интереса Бабеля, как и многих других писателей — выходцев из этого города, объединяемых некоторыми критиками в особую литературную группу (среди них много евреев — Эдуард Багрицкий (Дзюбин), Илья Ильф (Файнзильберг), Л.Славин, С.Гехт и др.). В очерке «Одесса» Бабель противопоставляет южную, солнечную Одессу Петрограду, связывает с ней свои надежды на появление «Литературного Мессии» («Журнал журналов», 1916, № 51). Одессе посвящены и его «Листки об Одессе» в газ. «Вечерняя звезда», от 19(6).3.1918, 21(8).3.1918 г.

В 1921 г. появились первые рассказы Бабеля о Бене Крике, прототипом которого был известный одесский бандит Миша Япончик; над рассказами этого цикла Бабель работал и в последующие годы. Этой же теме посвящены его

сценарий «Беня Крик», опубликованный в ж. «Красная новь», 1926, № 6, и вышедший отдельной книгой в издательстве «Круг» в том же году; фильм по этому сценарию, поставленный на одесской кинофабрике ВУФКУ, в начале 1927 г. вышел на экран. Тема Бени Крика развита в пьесе «Закат» (опубликована первоначально в ж. «Новый мир», 1928, № 2, и в том же году отдельной книгой в издательстве «Круг», впоследствии входила в сборники произведений Бабеля); пьеса была поставлена в Баку и Одессе в 1927 г., а в начале 1928 г. во 2-м Московском художественном театре (МХАТ 2-ой), но по вине театра не имела здесь успеха и вскоре сошла с репертуара. В Советском Союзе пьеса никогда более не ставилась, но за рубежом она имела большой успех в исполнении труппы «Габима» в Тель-Авиве (1965), а также в театрах Венгрии, Чехословакии, США и ГДР в 1960—1970 гг.

В настоящем издании раздел «Одесские рассказы», помимо четырех рассказов («Король», «Как это делалось в Одессе», «Отец» и «Любка Казак»), которые входили в этот цикл во всех изданиях Бабеля, включает также рассказы «Конец богадельни» и «Карл-Янкель», опубликованные в начале 30-х годов, «Справедливость в скобках», не входивший ни в одно издание Бабеля, и рассказ «Закат», при жизни автора не печатавшийся.

КОРОЛЬ (стр. 239)

Впервые: одесская газета «Моряк» от 23.6.1921 г., № 100, вторично — вечерний выпуск газ. «Известия Одесского губисполкома» от 14—16.5.1923 и ж. «Леф», 1923, № 4, август—декабрь, под шапкой «Одесские рассказы». Печатается по тексту ж. «Леф».

Стр. 240. *...самолюбствие...* — в поздних изданиях: *самолюбие*.

Стр. 243. *...одесского моря.* — В поздних изданиях: *...одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на*

свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как тrefные свиньи, еврейские нищие... и далее, как в тексте.

...бущующее... — в оригинале: будущее.

Подтягиваясь... вставали они со своих мест. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 245. Он хихикал, как застенчивая школьница. — В поздних изданиях отсутствует.

В поздних изданиях: ...как уже загорелось... Побегите смотреть, если хотите...

¹ Известная синагога в Одессе. В наброске незаконченного конармейского рассказа «Демидовка» Бабель изобразил своего отца молящимся в этой синагоге.

² Т.е. на шестнадцатой станции Большого Фонтана, на наиболее фешенебельном месте одесского морского курорта.

³ Шамес — служба в синагоге.

⁴ Биндюжник — ломовой извозчик или владелец ломового извоза, извозопромышленник (укр., одесск.).

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ (стр. 246)

Впервые: литературное приложение к газ. «Известия Одесского губисполкома» от 5.5.1923, вторично — ж. «Леф», 1923, № 4, август—декабрь, датировано 1923 г., под шапкой «Одесские рассказы».

Печатается по тексту ж. «Леф».

Стр. 253. ...из синагоги торговцев кошерной птицей... — в изданиях с 1925 г. ошибочно напечатано: у шамесов из синагоги, торговцев... (существовали синагоги определенных групп или профессий).

¹ Имеется в виду опера итальянского композитора Р.Леонкавалло «Паяцы».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ (стр. 256)

Впервые (с подзаголовком «Из одесских рассказов»): однодневная газета «На помощь!», выпущенная в 1921 г. Одесским профсоюзом рабочих полиграфического производства в пользу голодающих. При жизни Бабеля более не печатался. Опубликован в ж. «Простор» (Казахстан, Алма-Ата), 1974, № 1.

Повествование ведется от лица маклера Цудечкиса (см. рассказ «Любка Казак»).

Вариант (или замысел) этого рассказа пересказан в воспоминаниях Константина Паустовского «Время больших ожиданий», как сообщает автор мемуаров, со слов самого Бабеля. Вместо Цудечкиса здесь фигурирует наводчик Цирес, в квартире которого на Молдаванке, по словам Паустовского, жил в начале 20-х гг. Бабель, собирая материал для своих рассказов. Приводим текст Паустовского:

«Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате — начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность, даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса. [...]

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчишки с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенад-

цать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

— Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бредущему человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам на объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня?— спросил, сладко улыбаясь, Цирес. — Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц, — сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. — Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра, — очень тихо произнес Цирес, — в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька. — Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний

дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес. — Они сведут меня с ума, — эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье.

Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана» (К. Паустовский. «Время больших ожиданий»).

¹ Сергей Уточкин, известный русский авиатор, был одним из первых владельцев автомобиля в Одессе. Имеется в виду опасность попасть под автомобиль.

² *primo di primo* — лучшие среди лучших (итал.). *Бранжа* — дело (угол.).

³ *Und damit Punktum* — и на этом точка (нем.).

⁴ См. примечания к рассказу «Шабос-нахаму».

ЛЮБКА КАЗАК (стр. 263)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 5, с подзаголовком «Из одесских рассказов», и почти одновременно в одесском журнале «Шквал», 1924, № 1. Датировано 1924 г. Печатается по тексту ж. «Красная новь».

Стр. 264. ...вынимет... — в поздних изданиях: *выймет*.

¹ *Баал-Шем* или *Баал-Шем-Тов* — буквально «владеющий именем (Божиим)» — наименование, присваиваемое в средних веках и позже мудрецам, владеющим тайными обозначениями Бога и поэтому обладающим чудодейственными способностями. Здесь имеется в виду *рабби Израэль бен Элизер Баал-Шем-Тов* из Меджибожа, подписывавшийся аббревиатурой *Бешт*, основатель хасидизма, религиозно-мистического движения в иудаизме, получившего огромное распространение.

Популярная среди хасидов книга «*Чудеса Баал-Шема*» содержит легенды и предания о его жизни.

² *Сахалин* — русский остров в Тихом океане, место ссылки в царское время.

³ Цудечкис использует здесь библейский рассказ о египетском плене, угнетении евреев фараоном и исходе из Египта.

⁴ Во время молитвы евреи обычно стоят лицом к востоку, к Иерусалиму.

⁵ *Пересыпь* — район одесского порта.

⁶ *Мистер Троттибэрн* — в рассказе «Пробуждение» фигурирует как матрос с парохода «Кенсингтон».

⁷ Но в начале рассказа сказано, что действие происходит «лет десять тому назад».

ОТЕЦ (стр. 270)

Впервые: ж. «Красная новь», 1924, № 5, август—сентябрь, с подзаголовком «Из одесских рассказов». Датировано 1924 г. Печатается по тексту ж. «Красная новь».

Стр. 270. ...*в своекорыстном подслеповатом городишке*. — В поздних изданиях отсутствует.

В первой публикации, возможно, опечатка: *купец Иван Пятирубель*.

Стр. 271. ...*Баськи Грач и подмигнули ей. Они прошли мимо...* — в поздних изданиях отсутствует.

Стр. 274. ...*с ужасным спокойствием...* — в поздних изданиях отсутствует.

Стр. 275. ...*тогда Грач с ужасным спокойствием*. — В поздних изданиях отсутствует.

Стр. 278. ...*у запертой ее двери, два часа...* — в поздних изданиях отсутствует.

¹ *Не краковский раввин* — Краков гордился своими выдающимися раввинами и евреями-интеллигентами, сделавшими его центром еврейской культуры. *Мозес Монтефиоре* (1784—1885) — богатый еврей-филантроп из Англии, выступал в защиту евреев в России и был одним из основателей современного еврейского поселения в Палестине.

² *Бранжа* — дело (угол.).

³ *Мулла* — мусульманский священник. *Мекка* — родной город *Мухаммеда (Магомета)*, центр мусульманской религии; каждый мусульманин стремится посетить его хотя бы раз в жизни.

⁴ Этот эпизод описан в рассказе и пьесе «Закат».

⁵ *Цадики* — см. примечания к рассказам «Шабос-нахаму», «Рабби», «Карл-Янкель».

⁶ См. рассказ «Как это делалось в Одессе».

⁷ Но в рассказе «Король» Беня женится на дочери Эйхбаума, Циле.

ЗАКАТ (стр. 280)

При жизни Бабеля не печатался. Опубликован впервые в газ. «Литературная Россия», 1964, № 47 и в сборнике «Советские рассказы», т. 2, изд. «Пингвин» (Англия), 1968, вместе с переводом на английский язык («Soviet Short Stories», 2, Penguin, 1968). Неполный автограф с авторской правкой хранится у сына Бабеля М.В. Иванова (его мать вышла замуж за писателя Всеволода Иванова).

Упоминание о том, как Менделя Крика «искалечили собственные сыновья», есть в рассказе «Отец». Затем этот сюжет был развернут в пьесу «Закат» (см. вводные замечания к настоящему разделу).

¹ Район Одессы за Молдаванкой.

² Первого сорта (итал.).

³ Здесь рукопись обрывается. Заключительные слова взяты редакторами «Литературной России» из последней сцены пьесы «Закат». Эти строки следуют в пьесе за той же фразой, на которой обрывается рукопись.

ФРОИМ ГРАЧ (стр. 292)

В 1933 г. Горький рекомендовал этот рассказ вместе с рассказами «Мой первый гонорар», «Нефть» и «Улица Данте» для альманаха «Год шестнадцатый» (см. машинопись с пометкой редактора, ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42, лл. 42—48), но он появился впервые в Нью-Йорке в третьем альманахе «Воздушные пути», 1963, стр. 29—34. Вторично — в московском журнале «Знамя», 1964, № 8,

стр. 141—145. Печатается по машинописному тексту из архивов автора.

По теме — уничтожение одесских бандитов — рассказ перекликается с фильмом «Беня Крик».

¹ *«Добровольческая армия»* — белая армия, действовавшая на юге России.

² *Аркадия* — одесский морской курорт, фешенебельный пляж.

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ (стр. 298)

Впервые: ж. «30 дней», 1932, № 1, с подзаголовком «Из одесских рассказов», а также в сб. «Рассказы», изд. Федерация, М., 1932. Датировано 1920—1929 гг. В дальнейшем не публиковался до посмертной реабилитации автора.

Впервые: ж. «30 дней», 1932, № 1, с подзаголовком «Из одесских рассказов», а также в сб. «Рассказы», изд. Федерация, М., 1932. Датировано 1920—1929 гг. В дальнейшем не публиковался до посмертной реабилитации автора.

¹ Роскошное кафе в Одессе.

² Цитата из Библии, книга Бытия.

³ *Осия, Ошайя* — палестинский законоучитель, которого называли «отцом Мишны» (2 век н.э.).

⁴ Имеется в виду операция против белогвардейских войск генерала А.И. Деникина в январе 1920 г.

⁵ *Эль молей рахамим* — заупокойная еврейская молитва (иврит).

⁶ *Гэвэл гаволим...кулой гэвэл...* «Суета сует и всяческая суета» — Экклесиаст (иврит).

⁷ *Русским Марселем* автор называет Одессу (см. также рассказ «В подвале»), которая построена на месте турецкого поселка Хаджибей, отошедшего к России по ясскому мирному договору 1791 г.

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ (стр. 308)

Впервые: ж. «Звезда», 1931, № 7, с подзаголовком «Из одесских рассказов». Датировано 1924—29 гг. Печатается по тексту первой публикации.

По поводу этого рассказа Бабель писал матери и сестре: «Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках как Карл Янкель. Рассказ этот неудачен и к тому же чудовишно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь...» (Письмо от 2. 1. 1932 г., «Воздушные пути», Нью-Йорк, 1963).

Стр. 308. *Лучше их голубятни... Их было трое...* — в изданиях с 1932 г. отсутствует.

Жена кузнеца...учение хасидизма... — в изданиях с 1932 г. отсутствует.

Стр. 309. *...и потом, когда дивизию развернули в корпус, он стал комдивом.* — В поздних изданиях отсутствует.

...эта видная по неожиданности и живописности своей порода... — в поздних изданиях: *эта неожиданная порода.*

Стр. 311. *...служителем жреца.* — В изданиях с 1932 г.: *служителем культа.*

Нафтула...неправдоподобно. — В поздних изданиях отсутствует.

Он теснил Нафтулу все ожесточеннее. — В изданиях с 1932 г. фраза отсутствует.

Стр. 316. *...заключение, полное иезуитской уклончивости.* — В изданиях с 1932 г.: *уклончивое заключение.*

Женщина была чуть рябовата. — В поздних изданиях отсутствует.

¹ Район одесского порта.

² В Меджибоже (Меджибож) жил рабби Исразль бен Элизер «Баал-Шем-Тов» (ок. 1700—1760; см. примечание к рассказу «Любка Казак») — основатель хасидизма, еврейского религиозного мистического движения, получившего огромное распространение на Волыни, в Галиции, Литве, Польше, Белоруссии. Впоследствии движение разбилось на группы приверженцев той или иной династии цадиков. Цадики рассылали своих «эмиссаров» по еврейским местечкам для привлечения новых приверженцев; *...доплясывались на Пасху...* — молитвы в хасидских сина-

гогах, особенно по большим праздникам, сопровождаются безудержным весельем, пением и танцами.

³ У евреев собрание для молитвы состоит не менее чем из десяти мужчин (миньян).

⁴ *Дюк де Ришелье* — французский аристократ, который был градоначальником Одессы. В 1826 г. ему поставили памятник на берегу моря.

⁵ *Брис (брит)* — обряд обрезания (иврит).

⁶ Набожные замужние еврейки скрывают свои волосы под платком или париком, чтобы не привлекать внимания мужчин.

⁷ *Синедрион* — см. примечание 1 к рассказу «В подвале».

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Собрания произведений Бабеля

- Рассказы.* Библиотека «Огонек», № 5, М., 1925, 29 стр.
- Любка Козак.* Библиотека «Огонек», № 64, М., 1925, 37 стр.
- Рассказы.* М.—Л., Госиздат, 1925, 109 стр.
- Рассказы.* «Универсальная библиотека», № 22, М.—Л., Госиздат, 1926, 64 стр.
- Конармия.* М.—Л., Госиздат, 1926, 170 стр.
- История моей голубятни.* М.—Л., «Земля и Фабрика», 1926, 79 стр.
- Король.* «Беллетристы современной России, № 2», Париж, изд. «Очарованный странник», 1926, 32 стр.
- Беня Крик* (киноповесть). М.—Л., Артель писателей «Круг», 1926, 95 стр.
- Блуждающие звезды* (киносценарий по роману Шолом Алейхема). М., «Кинопечать», 1926, 80 стр., илл. Переиздано в США в 1972 г.
- Конармия*, изд. 2-е. М.—Л., Госиздат, 1927, 170 стр.
- История моей голубятни*, изд. 2-е. М.—Л., «Земля и Фабрика», 1927, 64 стр.
- Конец св. Ипатия.* «Рабоче-крестьянская библиотека». М.—Л., «Земля и Фабрика», 1927, 32 стр.
- Король.* М.—Л., Госиздат, 1927, 126 стр.
- История моей голубятни.* «Библиотека новейших писателей, № 3», Париж, 1927, 63 стр.
- Конармия* (издание к 10-летию Октября), М., 1927, 84 стр.
- Конармия*, изд. 3-е, исправленное. М.—Л., Госиздат, 1928, 172 стр. Переиздано с приложением рассказа «Аргамак» в издательстве «Флегон», Лондон, 1964.
- Закат* (пьеса). М.—Л., Артель писателей «Круг», 1928, 96 стр.
- История моей голубятни* (издание для детей старшего возраста). М.—Л., Госиздат, 1930, 24 стр., илл.
- Одесские рассказы.* М.—Л., Госиздат, 1931, 144 стр.
- Конармия*, изд. 5-е — 6-е, исправленное. М., Госиздат, 1931, 127 стр.

Рассказы. М., «Федерация», 1932, 219 стр., с портретом автора и рисунками Д.П. Штеренберга.

Конармия, изд. 7-е—8-е, дополненное. М., Гослитиздат, 1933, 138 стр., илл., с портретом автора.

Рассказы. М., Гослитиздат, 1934, 288 стр., илл.

Рассказы. М., Гослитиздат, 1935, 200 стр.

Рассказы. М., Гослитиздат, 1936, 320 стр.

Избранные рассказы. Библиотека «Огонек», № 47 (9621). М., 1936, Жургазобъединение, 40 стр. Последнее прижизненное издание произведений Бабеля.

Избранное. Сост. Г.Мунблит, предисловие И.Эренбурга. М., ГИХЛ, 1957, 376 стр., с портретом автора и с примечаниями. За основу книги взяты «Рассказы» (1936).

Забывшие рассказы. Ж. «Знамя», 1964, № 8. Переиздано отдельной книжкой в Чикаго в 1964 году и в Англии, изд. Брайда, в 1965 г. (с отрывками из писем к друзьям и с воспоминаниями Г.Мунблита).

Четыре рассказа. Изд. Брайда, Англия, 1965, 116 стр. Введение, примечания и библиография составлены проф. А.Б.Мэрфи. За основу книги взято «Избранное» (1957).

Конармия, Одесские рассказы, пьесы. Изд. Брайда, Англия, 1965. За основу книги взято «Избранное» (1957) с добавлением очерка «Одесса». Книга переиздавалась отдельными томиками в 1975—1977 гг.

Избранное. Кемерово, Кемеровское книжное издательство, 1966, 352 стр., с предисловием И.Эренбурга и с примечаниями. За основу книги взяты «Избранное» (1957) и «Забывшие рассказы» (1964).

Избранное. М., изд. «Художественная литература», 1966, 494 стр. Вступительная статья Л.Поляк, комментарии Е.Краснощековой. За основу книги взято «Избранное» (1957) с добавлением некоторых статей и писем Бабеля.

Примечание. С начала 30-х годов издания произведений Бабеля выходили с купюрами и искажениями. Так, в 1935 г. было даже намечено изъять из «Рассказов» (М., Гослитиздат) все конармейские рассказы, затрагивающие религиозную тему, а также описание расстрела еврея красными солдатами в рассказе «Берестечко» (см.

корректуру с редакторской правкой в ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед.хр. 5446).

Существует лишь единственная статья — Флегона (ж. «Студент», 1967, № 5—8, стр. 11—15) о том, как искажался бабелевский текст и в Союзе и на Западе — вплоть до отсутствия многоточий при купюрах. К сожалению, автор сравнивает текст, изданный после реабилитации Бабеля («Избранное», М., 1957 и Брадда Букс, 1965), только с собственным переизданием «Конармии» 1928 года.

Некоторые статьи по теме «Исаак Бабель как еврейский писатель»

Вешнев В. *Поэзия бандитизма*. Молодая гвардия, 1924, № 7—8, стр. 274—280 (о Бабеле и Юшкевиче — стр. 276).

Клейнман И.А. *Евреи в новейшей русской литературе*. «Еврейский вестник», Л., 1928, стр. 163—166.

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. *Бабель И. Э.*, Иерусалим, 1976, стр. 272—275.

Лежнев А. *Современники*. М., 1927, стр. 119-128 (о Бабеле и русско-еврейской литературе — стр. 124—127).

Лежнев А. *Литературные будни*. М., 1929, стр. 265—269.

Пирожкова А.Н. *Бабель в 1932—1939 гг. (из воспоминаний)*. В кн.: И.Бабель. Воспоминания современников. М., 1972, стр. 292—373 (о Рискинде и Михозлсе — стр. 349—353; о работе над рассказами Шолом Алейхема — стр. 370—371). Текст опубликован с большими купюрами.

Слоним М. *Писатели-евреи в советской литературе*. «Еврейский мир», сб. № 2, Нью-Йорк, 1944, стр. 144, 153—155, 163.

Abramsky Ch. *War, Revolution and the Jewish Dilemma*. An inaugural lecture at University College, London, 27.4.1975, pp. 26—27

Babel I.E. *Encyclopaedia Judaica*, vol. 4, p. 18; vol. 14, pp. 508, 513—514.

Baron S.W. *The Russian Jew under Tsars and Soviets*. New York—London, 1964, pp. 220, 287, 288, 390, 400—401.

Bellow S. Introduction. In: *Great Jewish Short Stories*, ed. S. Bellow. USA, London, 1972, pp. 9, 15—16, 209.

Chosed B. Jews in Soviet Literature. In: *Through the Glass of Soviet Literature*, E.J. Simmons (ed.), New York, 1953, pp. 112—114, 122.

Fein R. Babel and the End (The Lonely Years). *"Judaism"*, 1966, vol. 15, pp. 108—114.

Friedberg M. Jewish Themes in Soviet Russian Literature. In: *The Jews in Soviet Russia since 1917*, L. Kochan (ed.), Oxford University Press, 3rd. ed. 1978, pp. 200, 204—205.

Friedberg M. Jewish Contributions to Soviet Literature. In: *The Jews in Soviet Russia since 1917*, L. Kochan (ed.). Oxford University Press, 3rd. ed. 1978, pp. 219—222.

Friedberg M. Yiddish Folklore Motifs in Isaac Babel's "Konarmiya". *American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists*, vol. 2, 1978, pp. 192—203.

Gilboa Y. Hebrew Literature in the USSR. In: *The Jews in Soviet Russia since 1917*, L. Kochan (ed.). Oxford University Press, 3rd. ed. 1978, p. 232. Перевод на русский язык в книге: *Евреи в Советской России 1917—1967*. Библиотека «Алия», Иерусалим, 1975, стр. 257.

Kaun A. Babel: Voice of New Russia. *"Menorah Journal"*, 1928, № 15, pp. 400—410.

Kunitz J. Russian Literature and the Jew. New York, 1929, pp. 173, 190.

Markish S. *Peretz Markish's "Di Brider" and Babel's "Konarmiya"*. Commemorative session of the 7th World Congress of Jewish Studies on the 25th anniversary of the execution of the Yiddish writers, Jerusalem, 11.8.1977.

Markish S. The Example of Isaac Babel. *"Commentary"*. November, 1977, pp. 36—45; La littérature russo-juive et Isaak Babel. *"Cahiers du monde russe et soviétique"*, 1977, № 1—2, стр. 73—92.

Sicher E. R. *The Wise Man of Odessa: Isaac Babel and Hebrew and Yiddish Literature*. Paper given at the 7th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 10.8.1977.

Sicher E.R. Isaac Babel's Jewish Roots. *"Jewish Quarterly"*, 1977, № 3, pp. 25—27.

- אהרונִי אריה. "יצחק באבל והקולקטיביזציה". שבות, תשל"ה, מס' 3, ע"ע 125 — 123.
- בערגער לילי. "איזאק באבעל: דער שרייבער, דער ייד און די לעגענדע..." יידישע שריפטן, 1962, נומ' 3, ז"ז 11 — 10. גלבוֹע י. אוקטובראים עברים, ת"א, תשל"ד, ע' 74.
- גינזבערג ד. "איזאק באבעל". פאלקס־שטימע, ווארשע, 11.9.63, ז"ז 3,6.
- גוטאָוויטש י. "א. באבעל". יידישע שריפטן, 1960, ווארשע, נומ' 8 — 7, ז"ז 6,16.
- מינץ י. "הרהורים על ירידתו של באבל". הגות העברית בברה"מ, ירושלים, 1973, ע"ע 135 — 133.
- קאהאן י. "די יידישע טיפן אין באבעלס דערציילונגען". אונזער צייט, 1974, נומ' 12, ז"ז 38 — 35.
- קאהאן י. "איזאק באבעל איז "רעהאָביליטירט" געוואָרן". אונזער צייט, 1975, נומ' 1, ז"ז 43 — 41.

עיריית חיפה
 מערכת תוכנית החינוך
 חינוך יהודי-ערבי
 בית הלימודים - חיפה
 מס' פלאקארט.....

800

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------|---|
| От издательства | 5 |
| Автобиография | 7 |

РАННИЕ РАССКАЗЫ

| | |
|--|----|
| Старый Шлойме | 11 |
| Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна ... | 15 |
| Шабос-нахаму | 19 |

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

| | |
|------------------------------|----|
| Детство. У бабушки | 29 |
| История моей голубятни | 36 |
| Первая любовь | 49 |
| В подвале | 58 |
| Пробуждение | 68 |
| Ди Грассо | 76 |
| Гюи де Мопассан | 81 |
| Дорога | 90 |

КОНАРМИЯ

| | |
|---|-----|
| Переход через Збруч | 101 |
| Костел в Новограде | 103 |
| Письмо | 106 |
| Начальник конзапаса | 110 |
| Пан Аполек | 113 |
| Солнце Италии | 121 |
| Гedaли | 124 |
| Мой первый гусь | 129 |
| Рабби | 133 |
| Путь в Броды | 136 |
| Учение о тачанке | 138 |
| Смерть Долгушова | 141 |
| Комбриг 2 | 145 |
| Сашка Христос | 147 |
| Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча | 152 |

| | |
|---|-----|
| Кладбище в Козине | 158 |
| Прищепа | 159 |
| История одной лошади | 160 |
| Конкин | 164 |
| Берестечко | 167 |
| Соль | 170 |
| Вечер | 174 |
| Афонька Бида | 177 |
| У святого Валента | 183 |
| Эскадронный Трунов | 188 |
| Иваны | 195 |
| Продолжение истории одной лошади | 202 |
| Вдова | 204 |
| Замостье | 208 |
| Измена | 212 |
| Чесники | 217 |
| После боя | 221 |
| Песня | 225 |
| Сын рабби | 228 |
| Аргамак | 230 |

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

| | |
|---------------------------------|-----|
| Король | 239 |
| Как это делалось в Одессе | 246 |
| Справедливость в скобках | 256 |
| Любка Казак | 263 |
| Отец | 270 |
| Закат | 280 |
| Фроим Грач | 292 |
| Конец богадельни | 298 |
| Карл-Янкель | 308 |

С. Маркиш. Русско-еврейская
литература и Исаак Бабель

| | |
|--------------------|-----|
| Комментарии | 347 |
| Библиография | 403 |

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
(заказывать по прилагаемому купону)

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Бапшевис-Зингер. РАБ

37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА. ВЕРОВАНИЯ И МНЕНИЯ. Пер. с иврита.

Проф. Э.Э.Урбах (р. 1912) — один из крупнейших знатоков и исследователей истории иудаизма. Книга воспроизводит картину религиозной и общественной мысли танаев и амораев — мудрецов, чьи высказывания легли в основу Мишны и Гемары и на века определили духовную жизнь еврейского народа.

Хаим Граде. БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА. Роман.
Пер. с идиш.

Книга рассказывает о судьбе женщины, муж которой пропал без вести на войне. Действие происходит в конце 20-х годов в Вильне. Автор рисует широкую картину жизни литовского еврейства. Особенно живо написаны портреты раввинов, призванных решать согласно религиозному закону вопрос о праве героини на вторичное замужество.

Н.П.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ.
Из воспоминаний.

Проф. Н.П.Полетика, в прошлом крупный советский историк, писатель и журналист. Судьба этого потомка старинного дворянского рода тесно переплелась с судьбой России. Глазами автора мемуаров читатель видит погромы на Украине, дореволюционный и послереволюционный Киев, политическую борьбу в Ленинграде 20-х—30-х годов. Это также и увлекательное повествование о литературной жизни, о писателях и людях науки, с которыми встречался автор.